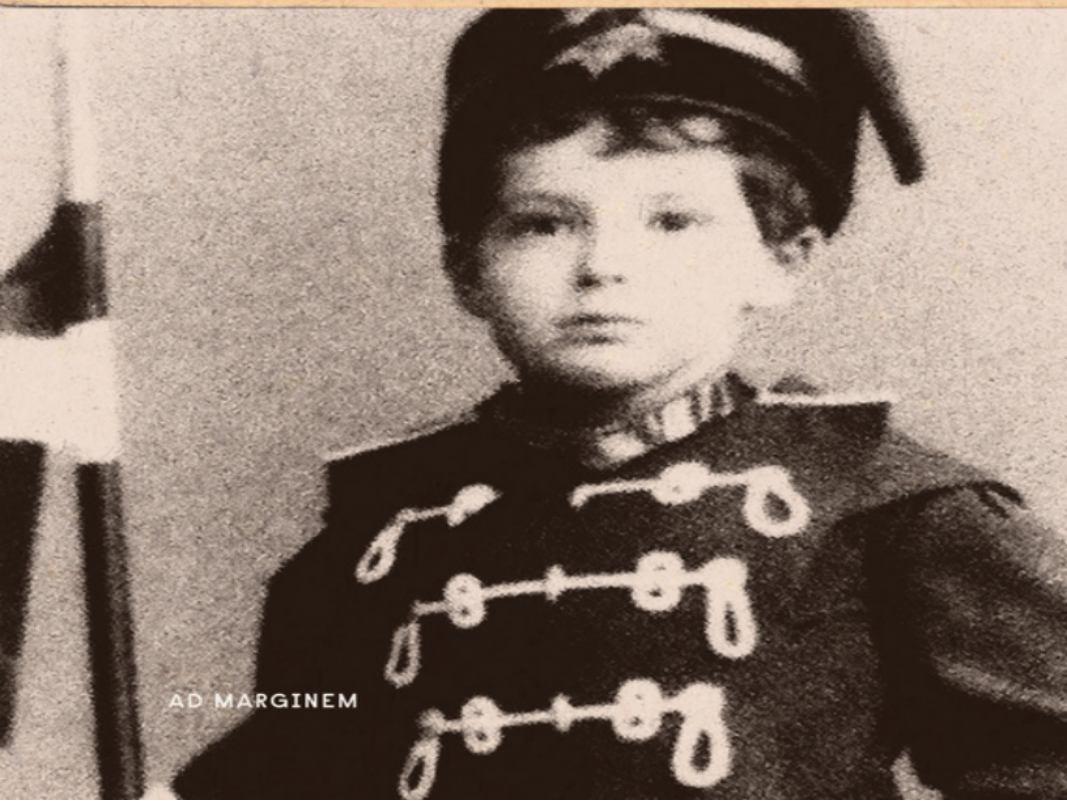
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
«ЛОГОС»

405 Verlag:

BERLIN W
21.8.12.11-12N
9 k

Вальтер Беньямин

Берлинское детство на рубеже веков



AD MARGINEM

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Эта проза входит в число произведений Беньямина о начальном периоде эпохи модерна, над историей которого он трудился последние пятнадцать лет своей жизни, и представляет собой попытку писателя противопоставить нечто личное массивам материалов, уже собранных им для очерка о парижских уличных пассажах. Исторические архетипы, которые Беньямин в этом очерке намеревался вывести из социально-прагматического и философского генезиса, неожиданно ярко выступили в "берлинской" книжке, проникнутой непосредственностью воспоминаний и скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни» (Теодор Адорно).

Перевод: Галина Снежинская

- Вальтер Беньямин
- Предисловие
- Лоджии
- «Императорская панорама»
- Колонна Победы {1}
- Телефон
- Ловля бабочек
- Тиргартен
- Опоздал
- Мальчишкины книжки
- Зимнее утро
- На углу улиц Штеглицер и Гентинер
- Два загадочных образа
- Крытый рынок
- Жар
- Выдра
- Павлиний остров и Глинике
- Весть о смерти
- Цветочный двор, 12
- Зимний вечер
- Кривая улица
- Чулок
- Обормотя
- Потайные уголки
- Призрак
- Рождественский ангел
- Происшествия и преступления

- Цвета
- Ящик для шитья
- Луна
- Два духовых оркестра
- Горбатый человечек
- Приложение: фрагменты ранних редакций
- Общество
- Шкафы
- Нищие и проститутки
- Отъезд и возвращение
- Касса букв
- «Новый друг немецкого юношества»
- Ученическая библиотека
- Карусель
- Кладовка
- Обезьяний театр
- Пробуждение пола
- Пульт
- Теодор Адорно. Послесловие

Вальтер Беньямин
Берлинское детство на рубеже веков

Колонна Победы поджаристо-румяна
под снежной сахарной глазурью детских дней…

Предисловие

В 1932 году, находясь за границей, я осознал, что уже скоро мне придется надолго, быть может, очень надолго, проститься с городом, в котором я родился.

Я не раз убеждался в действенности прививок, исцеляющих душу; и вот я вновь обратился к этому методу и стал намеренно припоминать картины, от которых в изгнании более всего мучаешься тоской по дому, – картины детства. Нельзя было допустить при этом, чтобы ностальгия оказалась сильнее мысли – как и вакцина не должна превосходить силы здорового организма. Я старался подавлять чувство тоски, напоминая себе, что речь идет не о случайной – биографической, но о необходимой – социальной невозвратимости прошлого.

По этой причине биографические моменты в моих набросках, проступающие скорей в силу непрерывности, а не глубины жизненного опыта, отходят на задний план. А с ними и лица – школьных товарищей и родных. Зато мне было важно воссоздать *картины,* в которых отразилось восприятие большого города ребенком из буржуазной семьи.

Как мне представляется, такие картины имеют свою особую судьбу. Они ведь еще не связаны с определенными формами вроде тех, в каких естественное чувство уже не одно столетие хранит воспоминания о детстве, проведенном в деревне. Зато мои картины, картины детства, проведенного в большом городе, оказались способны сформировать зачатки моего восприятия истории в более позднем возрасте. И я надеюсь, они отчетливо отображают, как тот, о ком здесь идет рассказ, в более позднюю пору своей жизни лишился ощущения надежного крова над головой, дарованного ему в детстве судьбой.

Лоджии

Подобно матери, которая, прикладывая к груди своего новорожденного, никогда не потревожит его сон, жизнь долгое время заботливо оберегает нашу хрупкую память о детстве. Ничто не питало мои воспоминания столь щедро, как вид дворов, где была среди темноватых лоджий одна, летом затененная маркизами, ставшая колыбелью, в которую уложил меня, своего нового жителя, Берлин. Должно быть, кариатиды, поддерживавшие лоджию, что находилась над нашим этажом, ненадолго покинули свои места, чтобы спеть песню над моей колыбелью; и пусть в той песне почти не упоминалось о том, что ожидало меня в будущем, зато были в ней слова, навсегда сохранившие для меня пьянящий воздух наших дворов. Мне кажется, легкое дыхание этого воздуха проносилось даже над виноградниками на Капри, укрывавшими меня, когда я сжимал в объятиях возлюбленную, и, несомненно, этот воздух сегодня овевает образы и аллегории, что властвуют над моей мыслью, подобно тому, как кариатиды на лоджиях господствовали над дворами в западной части Берлина.

Меня убаюкивало ритмичное постукивание – и колес городской электрички, и колотушек, которыми во дворе выколачивали ковры. Оно было той заводью, где рождались сновидения. Поначалу без образов, полные, кажется, плеска льющейся воды или запаха молока, потом протяженные – сны путешествий и дождей.

Весна выгоняла первые ростки возле серой дворовой стены, а летом, когда запыленная завеса листвы, колышась, снова и снова шуршала по каменной ограде, шелестящий шорох ветвей старался чему-то научить меня, хотя я еще не дорос до ученья. Да и все во дворе давало мне уроки. Сколько бы мог поведать сухой треск, с которым поднимались зеленые оконные жалюзи! А сколько зловещих угроз я благоразумно не желал слышать в грохоте железных штор, когда они опускались на закате дня!

Больше всего меня занимал во дворе клочок земли, где росло дерево. Незамощенный, он был придавлен круглой чугунной решеткой. Под ее толстыми прутьями чернела голая земля. Мне казалось, неспроста прилажена на землю эта решетка; иногда я задумывался о том, что же происходит там, в черной ямине, откуда выкарабкалось дерево. Позднее мои размышления распространились и на стоянки извозчиков. Там корни деревьев тоже были спрятаны под такими круглыми решетками, но по внешнему краю решетки шла еще и оградка. На нее извозчики

вешали свои пелерины, когда, качая насос колонки, наполняли для своих коняг углубленную в тротуар поилку сильной водяной струей, смывавшей прочь остатки сена и овса. Эти стоянки, чей покой лишь изредка нарушался прибытием или отъездом дрожек, были отдаленными провинциями моего двора.

В лоджии от стены к стене тянулись бельевые веревки, пальма в углу смотрела бесприютной бродяжкой, тем более что давно уже все привыкли считать ее родиной не черный континент, а гостиную соседней квартиры. Так было угодно закону сего места, некогда бывшего средоточием фантазий его обитателей. Пока оно не кануло в забвение, его порой озаряло своим светом искусство. Сюда находили тайные пути то подвесной фонарь, то бронзовая статуэтка, то китайская ваза. И хотя старинные эти вещи лишь изредка оказывали честь этому месту, сами они были под стать некоторым приметам его старины. Помпейский багрянец, широкой полосой лежавший на стенах, был неизменным фоном всех долгих часов, что застаивались в столь уединенном приюте. Время старилось в этих сумрачных покоях, открытых со стороны двора. И потому, когда я поздним утром, выйдя на лоджию, лицом к лицу сталкивался с временем, оно уже так давно было поздним утром, что казалось, здесь оно более полно отвечает своей сути, чем в любом другом месте. На лоджии мне никогда не удавалось дождаться этого часа – всякий раз он уже дожидался меня. Когда же я наконец подстерегал его, оказывалось, что позднее утро давно настало и даже как будто успело выйти из моды.

Впоследствии я заново открыл для себя дворы, когда увидел их с железнодорожной насыпи. В душный предвечерний час я смотрел из окна вагона в глубину дворов и думал: в них затворилось лето, отрекшееся от окружающего ландшафта.

И алые цветы герани, выглядывавшие из ящиков, лету были меньше к лицу, чем красные матрасы, по утрам наброшенные на перила и проветривавшиеся. Посидеть на лоджии можно было на железных садовых стульях, увитых коваными прутьями или тростником. Мы сдвигали их потеснее, когда по вечерам тут собирался наш читательский кружок. Газовый свет лился из красно-зеленого пылающего бутона на книжки дешевой библиотеки издательства «Реклам». Последний вздох Ромео проносился над нашим двором, ища ответа – эха, дожидавшегося его в гробнице Джульетты.

Со времени моего детства лоджии изменились меньше, чем все прочие помещения дома. Но не только этим они мне так дороги. А скорее другим: тем, что они, не приспособленные для жилья, служат утешением человеку, который сам лишен крова

над головой. Лоджия для берлинца – граница его дома. На лоджии живет Берлин – сам бог этого города. И здесь он чувствует себя столь полновластным хозяином, что рядом с ним не может очутиться что-либо мимолетное. Под защитой этого божества место и время обретают самих себя и примиряются друг с другом. Они покоятся здесь подле ног берлинского бога. А ребенок, который когда-то входил в их союз, чувствует себя на своей лоджии, окруженный этой троицей, словно в заранее сооруженном для него мавзолее.

«Императорская панорама»

Виды далеких стран, которые показывали в «Императорской панораме», потому были необычайно привлекательны, что начать можно было с любой картины. Ведь стена, вдоль которой стояли стулья, была круглая, и зритель, проходя по кругу и пересаживаясь с места на место, смотрел через два оконца в блекло окрашенные дали. Свободное место я находил всегда. А в те времена, когда с детством я почти уже простился, а мода на панорамы прошла, я нередко совершал свое круговое путешествие в полупустом помещении.

Музыки, столь разнеживающей, когда путешествуешь в кинематографе, здесь, в «Императорской панораме», не было. Сильнее, чем всякая музыка, действовали на меня другие звуки, слабые, да, по существу, и неприятные: звоночки. Звоночек раздавался за секунду до того, как картинка, дернувшись, отъезжала в сторону, оставляя пустоту, которую затем заполняла новая картинка. При этих звоночках все застилала влажная пелена разлуки: и горы до самых подножий, и города с их зеркально чистыми окнами, и вокзалы с клубами дыма, и виноградники – до последнего крохотного листочка. Тут я понимал, что невозможно за один раз исчерпать все великолепие вида. И являлся план, так никогда и не исполненный, – назавтра снова прийти, чтобы досмотреть. Но еще до того как я на что-то решался, весь аппарат, скрытый от меня деревянным коробом, резко вздрагивал, картинка, шарахнувшись в маленькой рамке, ускользала куда-то влево, прочь с моих глаз.

Искусства, худо-бедно влачившие здесь свое существование, в двадцатом веке вымерли. В начале столетия последними посетителями панорам были дети. Дальние страны не всегда были чужими для них. Случалось, что томительное желание, которое пробуждали эти картины, влекло не в неведомые края, а домой. Вот и мне однажды диапозитив с видом городка Экса внушил, что когда-то я играл там на каменных плитах, хранимых древними платанами бульвара Мирабо.

Если на улице лил дождь, я не задерживался у входа перед списком, содержащим названия пятидесяти картин. Войдя внутрь, я видел, что среди фиордов или под кокосовыми пальмами разливался тот же свет, что вечерами озарял мой ученический пульт со школьными тетрадками. Разве что иногда из-за неисправности проводки ландшафт внезапно лишался красок. Он простирался, безмолвный, под пепельным небом, а мне казалось, всего секунду назад я мог расслышать свист ветра и колокольный

звон, если бы только слушал получше.

Колонна Победы {1}

Она стояла посреди широкой площади, точно красная цифра на листке отрывного календаря. Вот бы и сорвали эту колонну с места да убрали, в последний раз отпраздновав годовщину Седана. Когда я был маленьким, невозможно было вообразить, чтобы хоть какой-то год обошелся без Дня Седана [1] . От Седанской битвы к тому времени только и осталось – парады. Так что в 1902 году, когда после проигранной Бурской войны дядюшка Крюгер [2] проезжал по Тауенцинштрассе, я тоже стоял с гувернанткой в публике, собравшейся поглазеть на героя, который ехал себе, при цилиндре, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Говорили тогда, что он «провел войну». Мне эти слова чрезвычайно понравились, хотя и показались не вполне точными: как если бы кто-то «провел» на веревке носорога или верблюда, за что и удостоился почестей. Однако что же еще могло быть после Седана? После поражения французов мировая история сошла в достославную могилу, обелиском над которой встала эта колонна.

Учась в четвертом классе гимназии, я полюбил шагать по ступеням, возносившим путника к властителям Аллеи Победы {2} . Меня привлекали, собственно, лишь два вассала, стоявшие каждый в своем углу мраморного рельефа на задней стороне постамента. Оба – ниже своих сеньоров, так что их можно было хорошенько разглядеть. А из всех прочих я очень полюбил епископа, рукой в перчатке державшего маленький собор. Сам-то я из деталей конструктора «Анкерштейн» мог построить собор и побольше, чем этот. С той поры, где бы ни встречалось мне изображение святой Екатерины, я непременно искал глазами колесо, а если передо мной была святая Варвара – темницу {3} .

Каково происхождение украшений на колонне Победы, мне рассказали. И все-таки я не понял, что там за история приключилась с пушечными стволами: то ли французы пошли воевать, вооружившись золотыми пушками, то ли мы отлили пушки из золота, которое отобрали у французов. Постамент колонны кольцом охватывала крытая колоннада. Я ни разу не вошел под ее своды, где свет мягко играл на золоте мозаичных панно. Было страшно: а вдруг там картины вроде тех, какие я ненароком увидел в книге, подвернувшейся мне в гостиной одной из моих старых тетушек. То было роскошное издание «Ада» Данте. Героев, чьи подвиги являлись взору на мозаиках колоннады, я в глубине души считал существами не менее презренными, чем Дантовы неисчислимые грешники,

исхлестанные ветром, обратившиеся в кровоточащие древесные обрубки, вмерзшие в ледяные глыбы и обреченные искупать свои прегрешения. Поэтому круглая колоннада представлялась мне преисподней, противоположностью круга милости Божией, что золотился на самом верху памятника, над блистающей Викторией. В иные дни там, наверху, стояли люди. На фоне неба они казались обведенными черным контуром, как бумажные фигурки для вырезания и наклеивания. А разве не брался я за ножницы и банку с клеем, чтобы, закончив свою постройку из деталей конструктора, украсить ее порталы, ниши и оконные наличники человечками, совсем такими, как эти? Творениями такого же восторженного произвола были ярко озаренные люди наверху колонны. Вечный солнечный день был вокруг них. Или вечный День Седана?

Телефон

То ли аппараты так устроены, то ли память – могу сказать лишь одно: уже ставшие отголосками прошлого шорохи, которые сопровождали первые телефонные разговоры, звучали не так, как нынче. Те шорохи были ночными. Ни одна муза не соединит вас с ними. Они прилетали из той ночи, которая предшествует рождению всего поистине нового. Новорожденным был и голос, до поры до времени дремавший в телефонном аппарате. Мы с телефоном братья-близнецы – родились в один день и час. Мне довелось быть свидетелем того, как он оставил в прошлом все унижения первых лет своей жизни. Ведь как раз тогда, когда бесславно сгинули и были забыты люстры, каминные экраны, консоли, сервировочные столики, пальмы в кадках и балюстрады перед эркерами, прежде горделиво красовавшиеся в гостиных, телефонный аппарат, подобно легендарному герою, брошенному на произвол судьбы в горной теснине, выбрался из темного ущелья коридора и триумфально прошествовал в залитые ярким светом комнаты, обжитые молодым поколением. И стал для молодых утешением в одиночестве. Отчаявшимся, решившим покинуть земную юдоль, он дарил свет последней надежды. С покинутыми он делил ложе. Пронзительный голос прорезался у него в эмиграции, а в первые годы, когда все с нетерпением ждали его призыва, он звучал приглушенно.

Немногие, пользующиеся телефонным аппаратом, знают, какие разрушения производил он в семейном быту, когда только-только появился на свет. Звон, которым он нарушал тишину между двумя и четырьмя часами дня, если школьному товарищу хотелось со мной поговорить, раздавался словно сигнал тревоги, он возвещал об опасности, нависшей не только над послеобеденным отдыхом моих родителей, но и над всей эпохой, лелеявшей их сон. Регулярно происходили препирательства с чиновными ведомствами, не говоря уже об угрозах и громовых проклятиях, которые мой отец обрушивал на какую-нибудь инстанцию, куда звонил с жалобой. Однако в подлинный экстаз отца приводила ручка телефона, которую надо было крутить, – этим оргиям он предавался самозабвенно и подолгу. Сжатый кулак отца был словно вертящийся до умопомрачения дервиш. А у меня при виде этого сильно билось сердце, так как я не сомневался, что телефонной барышне не избежать оплеухи в наказание за нерадивость.

В те времена телефон, уродец и изгнанник, висел на стене по соседству с коробом для грязного белья и газовым счетчиком, в

углу черного коридора, что вел в кухню; звонки его, доносившиеся оттуда, усиливали и без того немалые страхи, обитавшие в берлинской квартире. Когда же я, ощупью пробравшись по темной, без малейшего проблеска, кишке коридора и мало-мальски опомнившись, срывал с телефона, чтобы прекратить наконец этот мятежный звон, обе его трубки, тяжелые, как гантели, и прижимал их одну к уху, другую к подбородку – с этого мгновения я был немилосердно отдан во власть голоса, раздававшегося в аппарате. Ничто на свете не могло ослабить мощный натиск этого голоса. Я был бессилен, я страдал, боясь, что он разобьет все мои планы, замыслы и обязанности; как медиум повинуется голосу, повелевающему ему из иного мира, так соглашался я с первым же предложением, если оно делалось по телефону.

Ловля бабочек

Не отказываясь от путешествий, случавшихся время от времени, мы каждый год, пока я не пошел в школу, на лето снимали дачу в окрестностях Берлина. И долго еще мне напоминал об этом летнем житье большой ящик, висевший на стене в моей комнате и хранивший то, что было началом моей коллекции бабочек. А первые ее экземпляры я раздобыл в саду на склоне Пивоваренной горы. Капустницы с обмахрившимися крылышками, лимонницы с осыпавшейся пыльцой воскрешали в моей памяти дни, когда в пылу охоты меня уносило прочь с чистеньких садовых дорожек в заросли, где я безраздельно покорялся власти заговорщиков – ветра и благоуханий, листвы и солнца, которые, быть может, правили и полетом бабочек.

Они порхали среди цветов и вдруг повисали над каким-нибудь одним. Я, приподняв рампетку, ждал той минуты, когда колдовская сила цветка иссякнет и перестанет поддерживать мотылька, но тут это крохотное существо легко отлетало прочь и замирало в воздухе уже над другим цветком, а затем, даже не коснувшись лепестков, столь же внезапно покидало и его. Когда какая-нибудь крапивница или шоколадница, которую я запросто мог бы догнать, все-таки оставляла меня в дураках, обманув своей нерешительностью, колебаниями, медлительностью, мне хотелось раствориться в свете и воздухе, только бы незаметно подкрасться и завладеть добычей. Это желание исполнялось, но лишь в том смысле, что при каждом взмахе или трепете крылышек, от которых я был без ума, ко мне как будто доносилось их веянье и, ощущая его, я и сам трепетал. Действовал старинный закон охоты: чем больше я всеми фибрами души льнул к добыче, чем более мотыльковым становилось мое существо, тем больше и мотылек с его порывами и метаниями приобретал нечто человеческое. И в конце концов мне казалось, что, лишь поймав мотылька, я могу откупиться и снова стать человеком. Однако если это и случалось, то как же труден был путь, которым добирался я с театра своего охотничьего счастья до бивака, где извлекал из ботанизирки эфир и вату, пинцеты и разноцветные булавки. А в каком виде оставлял я охотничьи угодья! Трава примята, цветы растоптаны – ведь охотник, ударяя сачком, всем телом бросался наземь, но по ту сторону всех разрушений, неуклюжих порывов и насилия, в моей рампетке, цепляясь за кисею, трепетал насмерть испуганный и все же столь прелестный мотылек. На этом мучительном пути дух обреченного смерти создания переселялся в ловца. И тот постигал иные из

законов незнакомого языка, на котором мотылек и цветок вели свой разговор. Жажда убийства ослабевала, и настолько же возрастала уверенность охотника в своих силах.

В воздухе, в котором некогда порхал тот давний мотылек, ныне носится слово, которого я уже не один десяток лет ни от кого не слышал, да и сам не произносил. Оно сохранило нечто непостижимое, предстающее взрослому человеку в именах и словах его собственного детского языка. Долгая праздность придает этим словам нечто возвышенное. Вот так трепещет в воздухе, полном порхающих мотыльков, название «Пивоваренная гора». На этой горе близ Потсдама мы жили на даче. Однако название утратило массивность «горы», а от «пивоварни» и вовсе ничего в нем не осталось. Осталась лишь гора, облитая воздушной синевой, гора, летом вздымавшаяся над землей, дабы предоставить приют мне и родителям. И потому Потсдам моего детства полон столь густо-синим легким воздухом, словно все его траурницы, адмиралы, авроры и махаоны разбросаны по сверкающей лиможской эмали, на темно-синем фоне которой ярко выделяются стены и башни Иерусалима.

Тиргартен

Не найти дорогу в городе – невеликая премудрость. А вот заблудиться в городе, как в лесу, – тут требуется выучка. В названиях улиц ему, заплутавшему, надо уметь расслышать нечто важное, как в треске сухих ветвей в лесу, а узкие улочки городского центра должны казаться разными в зависимости от времени дня или ночи, подобно тому, как по-разному предстают нам в разные часы горные ущелья. Я овладел этим искусством поздновато, в школе, где оно всецело занимало мои мечты, оставившие свои свидетельства – лабиринты на промокашках в моих тетрадях. Впрочем, нет, не эти были первыми – еще до них появился другой лабиринт, и жизнь его оказалась гораздо более долгой. Путь в этот лабиринт, где была, конечно, и своя Ариадна, вел по мосту Бендлербрюке, чей плавный изгиб стал для меня первым в жизни подъемом по склону. Невдалеке от моста находилась моя цель: Фридрих Вильгельм и королева Луиза. На круглых постаментах возвышались они посреди цветников, словно зачарованные магическим водотоком, чертившим на песке прихотливые извилистые линии. Мне гораздо больше нравилось рассматривать не самих правителей, а пьедесталы, потому что все там было ближе, хотя я и не понимал, что же связывает эти изображения между собой. О том же, что садовый лабиринт имел некий особый смысл, я догадался давным-давно, когда впервые увидел самую обыкновенную широкую площадку, глядя на которую не подумаешь, что здесь, в двух шагах от магистрали, где полно дрожек и экипажей, дремлет в тиши самая удивительная часть парка.

Все-таки я рано приметил некий знак. Ведь здесь или где-то неподалеку наверняка находился приют той Ариадны, чья близость впервые открыла мне то, для чего лишь позднее я нашел слово: любовь. Увы, у этого истока, бросая на него холодную тень, тотчас появляется фройляйн. Поэтому парк этот, благосклонный к детям, пожалуй, как ни один другой, для меня оказался связанным с чем-то трудным, недостижимым. Как редко удавалось мне разглядеть обитательниц Пруда Золотых Рыбок! Как много сулила самим названием своим Аллея Придворных Егерей, но как мало дарила! Сколько раз я попусту искал добычу в кустах, окружавших беседку, очень похожую на постройки из моего конструктора «Анкерштейн» – с красными, белыми и синими башенками! С какой безнадежностью возвращается каждой весной моя любовь к принцу Луи Фердинанду, у ног которого расцветали первые крокусы и нарциссы! За разделявшей

нас водной преградой они были совершенно недосягаемы, словно стояли под стеклянным колпаком. На такой вот холодной красоте всегда зиждилось все, обладающее княжеским достоинством, и мне становилось понятно, почему Луиза фон Ландау, девочка, рядом с которой до самого дня ее смерти я сидел в нашем кружке любителей чтения, жила на Лютцовской набережной, как раз напротив крохотной цветущей чащи, чьи цветы целуют воды канала.

Со временем я открыл новые уголки, о каких-то других узнал от людей. Однако ни одна девочка, ни одно впечатление и ни одна книга не поведали мне ничего нового об этой части парка. Когда же спустя тридцать лет некий знаток здешних мест, крестьянин из берлинских окрестностей, принял во мне участие и мы вместе вернулись в Берлин – оба после долгой вынужденной разлуки с нашим городом, – пути этого человека расчертили сад, словно борозды, в которые он бросал зерна молчания. Он шагал вперед по тропам, и каждая тропа шла под уклон. Они вели вниз, к Матерям, если и не всего сущего, то, несомненно, к матерям этого сада. В асфальте от его шагов рождалось эхо. Газовые фонари, озарявшие плиты у нас под ногами, бросали двойственный свет на эту землю. Лестницы и колоннады, фризы и архитравы, украшавшие виллы Тиргартена, – мы были первыми, кто потребовал от них исполнения обещаний. Но прежде всего – от лестниц в жилых домах, ибо лестницы и окна подъездов остались старыми, хотя домовое нутро, где жили, сильно изменилось. Я и сегодня помню стихи, заполнявшие интервалы между ударами моего сердца, когда я ненадолго останавливался, поднимаясь по тем лестницам. Эти строки смутно брезжили на оконном стекле, там, где парящая, как Сикстинская мадонна, женская фигура выступала вперед из ниши, держа в поднятых руках венок. Я стоял, подсунув пальцы под ремни ранца на плечах, и читал: «Мастер честь за труд находит, благодать же свыше сходит» [3] . Далеко внизу со стоном затворялась входная дверь, будто призрак опускался в свой гроб. На улице, кажется, шел дождь. Одно из окон с разноцветными стеклами было открыто, и дальше я поднимался по лестнице, подчиняясь дробному ритму дождевой капели.

Среди всех взиравших на меня кариатид и атлантов, амуров и нимф самыми близкими мне были те запорошенные пылью божества из племени хранителей порогов, что оберегают входящего в мир или в дом. Они ведь поднаторели в ожидании. А значит, им было безразлично, ждать ли какого-то чужака, или возвращения древних богов… или мальчика со школьным ранцем, тридцать лет тому назад робко пробиравшегося внизу, у них под

ногами. Благодаря их присутствию старый берлинский запад превращался в запад античного мира, откуда прилетает западный ветер к лодочникам, чьи челны, груженные яблоками Гесперид, тихо тянутся вверх по Ландверскому каналу и причаливают у моста Геракла. И вновь, как в моем детстве, в зарослях вокруг площади Большой Звезды [4] рыскали Лернейская гидра и Немейский лев.

Опоздал

Часы на школьном дворе, верно, сломались, и виноват в этом был я. Они показывали: «Опоздал!» А в коридоре из-за дверей классов, мимо которых я мчался, доносились невнятные голоса, там шли тайные совещания. Учителя и ученики там были заодно. Но бывало и так, что повсюду царила тишина, словно кого-то ждали. Я бесшумно нажимал на дверную ручку. Пятачок, на котором я стоял, заливало солнце. И тут я позорно предавал сияющий свежей зеленью день ради того, чтобы войти в класс. А в классе, казалось, никто меня не узнаёт, да и не замечает. В начале урока учитель отнял у меня имя, в точности, как однажды черт прибрал к рукам тень Петера Шлемиля [5] . При опросе очередь до меня не доходила. Тише воды сидел я до конца, до звонка школьного колокола. Но благословения он не приносил.

Мальчишкины книжки

Самые любимые книги получал я в школьной библиотеке. В младших классах их выдавал учитель. Он называл мое имя, и книга отправлялась в путь от парты к парте, из рук в руки или плыла над головами, добираясь до меня, попросившего эту книгу. На страницах видны были следы чужих листавших ее пальцев. Кусочки шнура, служившие кантами на краях корешка, торчали наружу и были засаленными. Много лучшего оставлял желать и самый корешок: он был таким потрепанным, что перекашивался, а обрез книги превращался в лесенки или террасы. Со страниц иногда, словно паутинки бабьего лета с кустов, свисали ниточки, выпавшие из переплетной канвы – той самой сети, в которой я раз и навсегда запутался, выучившись читать.

Книга передо мной лежала на слишком высоком столе. Читая, я зажимал ладонями уши. Не доводилось ли мне когда-то уже слушать вот такие беззвучные истории? Конечно, не отец их рассказывал. Зимой в теплой комнате я стоял у окна, и вот так же, беззвучно, мне о чем-то рассказывала метель. О чем был ее рассказ, никогда не удавалось понять до конца, ибо слишком часто и слишком густо вторгалось новое в то, что я давным-давно знал. Едва примкнув к какой-нибудь компании снежинок, я видел, что та уже спешит спровадить меня другой, налетевшей откуда ни возьмись и разбившей нашу. А теперь настало время во вьюге печатных букв высматривать истории, что ускользали от меня, глядевшего в зимнее окно. Дальние страны, о которых я читал, играли в кругу привольно, как снежные хлопья. Однако когда идет снег, странствия уводят нас не в дальние края, а в глубины нашего внутреннего мира: Вавилон и Багдад, Акко и Аляска, Тромсё и Трансвааль жили в моих мыслях и чувствах. Пропитавший эти истории теплый воздух затертых книжонок, дразнивший запахом крови и опасности, с такой необоримой силой проникал в мое сердце, что оно навсегда сохранило верность потрепанным романчикам.

Или оно хранило верность другим, более старым, невозвратимым? Тем – чудесным, которые лишь однажды мне было дано увидеть во сне? Какие у них были заглавия? Я ничего не помнил – лишь то, что мне приснились давно исчезнувшие книги, которых я никогда больше не мог найти. А в моем сне они лежали в шкафу, и, проснувшись, я сообразил, что никогда в жизни этого шкафа не видел. В моем сне он был старым, и я хорошо его знал. Книги на полках не стояли, а лежали – лежали в наветренном углу шкафа! В них бушевали грозовые шквалы.

Раскрыв одну из них, я очутился бы в утробе, где клубились облака переменчивого пасмурного текста, готового породить цвета. Одни цвета были вялые, другие резвые, но все они неизменно сливались в фиолетовом, такого цвета бывают внутренности забитой скотины. Запретными и полными глубокого смысла, как этот непотребный фиолетовый, были заглавия книжек, причем каждое новое заглавие казалось мне и более диковинным, и более знакомым, чем прежние. Но, не успев прочитать хотя бы одно, я проснулся, так и не притронувшись, даже во сне, к старым мальчишкиным книжкам.

Зимнее утро

Фея, согласная исполнить желание, есть у каждого ребенка. Но лишь немногие, став взрослыми, помнят, о чем они просили фею; поэтому лишь немногие в своей взрослой жизни видят исполнение этого желания. Я знаю, какое желание исполнилось в моей жизни; не сказал бы, что оно было более разумным, чем те, какие загадывают дети в сказках. А возникло оно из-за лампы, которая зимой каждое утро в половине седьмого приближалась к моей кровати, отбрасывая на потолок тень моей няни. Разводили огонь в печке. И вот уже пламя глядит на меня из тесного, неудобного закутка, где ему среди углей толком и не развернуться. Однако сила у него такая, что оно, маленькое, меньше даже, чем я сам, поднимается там, в печке, совсем близко от меня, и няне приходится наклоняться к нему еще ниже, чем ко мне. Дождавшись, пока пламя, насытившись, не угасало, она сажала в печку яблоко. Вскоре решетчатая печная дверца красными мерцающими бликами проступала на полу. А моим сонным глазам казалось: они уже насмотрелись на эту картину досыта, хватит на целый день. Так всегда бывало в этот утренний час; лишь голос няни портил церемониал, в котором зимнее утро обручало меня со всеми вещами в моей комнате. Жалюзи были еще не подняты, когда я в первый раз приоткрывал печную дверцу – посмотреть, как там яблоко? Случалось, его вкусный запах был еще совсем слабым. И я терпеливо ждал, пока ноздри не начинал щекотать воздушный аромат, струившийся словно из каких-то более глубоких и уединенных покоев зимнего дня, чем даже те, откуда в рождественский вечер изливалось благоухание елки. Темный и теплый, лежал передо мной плод, яблоко, оно было и знакомым, и все же изменившимся, как старый приятель, который долго-долго странствовал и вот явился ко мне. А странствовало оно в стране темной и знойной и напиталось в печи ароматами всего, что приготовил для меня новый день. Поэтому неудивительно, если мне, согревавшему ладони о гладкие щечки яблока, не доставало решимости откусить от него. Я чувствовал, что мимолетная весть, принесенная его благоуханием, слишком легко может ускользнуть, если попадет мне на язык. Весть, которая иной раз так славно меня подбадривала, что я не раскисал даже по дороге в школу. Правда, в школе, стоило только сесть за парту, как сонливость, уж вроде бы улетучившаяся, одолевала меня с удесятеренной силой. С ней возвращалось и мое желание – вволю поспать. Должно быть, я загадывал его тысячи и тысячи раз, ибо со временем оно таки исполнилось. Но немало

воды утекло, прежде чем я понял: оно исполнилось потому, что мои надежды найти постоянную работу и верный кусок хлеба всегда оказывались тщетными.

На углу улиц Штеглицер и Гентинер

В ту эпоху, какое детство ни возьми, в нем непременно маячили тетушки, уже не выходившие из своей квартиры; они всегда дожидались нас, когда мы с мамой приходили с визитом; у них были одинаковые черные чепцы и шелковые платья, и сидели они на одинаковых креслах, перед одинаковыми окнами в эркере, откуда и подавали голос, приглашая войти. Словно феи, что простирают свою волшебную власть над целой долиной, вниз, однако, никогда не спускаясь, – вот так же властвовали старые тетушки над целыми кварталами и улицами, никогда на этих улицах не показываясь. К таким существам относилась и тетя Леман. Доброе северогерманское имя ручалось за ее право на протяжении целой человеческой жизни утверждать господство своего эркера над кварталом, где Штеглицерштрассе упирается в Гентинерштрассе. Угол улиц – из тех, что остались почти не затронутыми переменами последних трех десятилетий. Разве что упала завеса, скрывавшая его от меня, когда я был маленьким. Ведь в те далекие времена название улицы было для меня другим: не Штеглиц, а Щеглиц слышалось мне. Щегол подарил улице свое имя. А тетя разве не обитала в эркере, как в клетке, словно птичка, умеющая говорить? Когда бы ни вошел я в эту клетку, воздух в ней звенел от щебета маленькой черной птички, которая в свое время порхала над всеми здешними гнездами – дворами Берлина и его окрестностей, где в давние времена расселилась вся ее многочисленная родня. В своей памяти тетушка хранила имена родственников и названия деревень, часто звучавшие одинаково. Она помнила все связи родства и свойства, места проживания, успехи и неудачи всевозможных Шенфлисов, Равитчеров, Ландсбергов, Линденгеймов и Штаргардов, которые некогда обитали в Передней Померании и Бранденбурге, торговали зерном или скотом. Теперь же их дети, а может быть, и внуки жили здесь, на старом берлинском западе, на улицах, названных в честь прусских генералов или в память крохотных городков, откуда они перебрались в Берлин. Много позднее, когда экспресс мчал меня через эти захолустные городишки, я часто смотрел из вагона на лачуги и дворы, амбары и островерхие крыши и гадал: а не это ли – тени, что в давние времена оставили по себе родители тех стареньких бабушек, к которым меня, маленького мальчика, водили в гости?

Чопорный голос, надтреснутый и стеклянно-дребезжащий, желал мне доброго дня. Однако ничей голос не был столь верно и тонко настроен на то, что затем меня ожидало, как голос тетушки

Леман. Ведь едва я входил, она спешила распорядиться, чтобы передо мной поставили большой стеклянный куб, заключавший в себе самый настоящий рудник, а в нем были маленькие горнорабочие: подручные, забойщики, штейгеры, кто с кувалдой, кто с тачкой или фонарем, – и все они двигались слаженно, как часовой механизм. Эта игрушка, если позволительно так ее назвать, появилась на свет в эпоху, когда отпрыску богатых буржуа еще дозволялось полюбоваться рабочими машинами и местами, где люди трудятся. А среди всех таких мест рудник издавна выделялся, ибо в нем можно было увидеть не только сокровища, что тяжкими трудами добывали под землей, но и тот серебряный блеск в рудных жилах, который околдовал когда-то Жан Поля, Новалиса, Тика и Вернера {4} , да и весь век бидермейера [6] .

Двойная защита была у этой квартиры с эркером, как и полагается сокровищнице, где сберегаются столь бесценные вещи. В вестибюле, сразу за дверями подъезда, слева высилась темная дверь со звонком-колокольчиком. Когда она отворялась, передо мной поднималась крутая, до головокружения, лестница – подобные встречались мне впоследствии только в крестьянских домах. В тусклом свете газа, сочившемся откуда-то сверху, я видел старую служанку под ее защитой переступал второй порог и попадал в прихожую мрачного жилища. Без какой-то из этих старых служанок я его и представить себе не мог. Они с госпожой сообща владели сокровищем – пусть сокровищем воспоминаний, о которых умалчивают, – а потому служанки не только слушались каждого слова, но могли быть и весьма достойными представительницами своей хозяйки в глазах любого постороннего. Тем более в моих, поскольку зачастую служанки понимали меня лучше, чем госпожа. Я же, в свою очередь, смотрел на этих старух с восхищением. Нередко они были крупнее и крепче, чем их повелительница, да и гостиная где-то там, в глубине квартиры, несмотря на рудник и шоколад, зачастую привлекала меня меньше, чем прихожая, в которой, когда я приходил, древняя опора дома снимала с моих плеч пальтецо, словно освобождая от тяжелой ноши, а когда уходил, нахлобучивала мне на лоб шапку, воздев руку словно для благословения.

Два загадочных образа

В моей коллекции открыток было несколько таких, от которых в памяти ярко запечатлелась не картинка с видом, а исписанная оборотная сторона. На ней стояла красивая разборчивая подпись: Хелена Пуваль. Так звали мою домашнюю учительницу. «П», первая буква ее фамилии, была та же, что в словах «правильный», «пунктуальный», «первый», «в» означала «верный», «вежливый», «воспитанный», ну а «л» в конце раскрывалась как «любящий», «лучший», «любезный». Будь в этой подписи только согласные, как в еврейских словах на письме, она была бы не только образчиком совершенной каллиграфии, но и кладезем всяческих добродетелей.

Кружок фройляйн Пуваль посещали мальчики и девочки из лучших домов буржуазного берлинского запада. Но очень строгих правил тут не было, так что в кружок буржуазных деток смогла затесаться и дворяночка. Звали ее Луиза фон Ландау, и само это имя вскоре меня очаровало. Но не потому оно и поныне остается для меня живым. Среди всех имен моих ровесников оно стало первым, в котором я расслышал акцент смерти. Было это, когда я уже перестал посещать кружок, поскольку вырос и учился в шестом классе. Если только мне доводилось очутиться на Лютцовской набережной, всегда я искал глазами дом Луизы. По воле случая он стоял на другом берегу как раз напротив садика, опустившего ветви к самой воде. И со временем он настолько глубоко соединился с любимым именем, что я твердо уверовал: прекрасный недоступный цветник на том берегу – это кенотаф {5} , пустая гробница маленькой покойницы.

Фройляйн Пуваль сменил господин Кнохе. К этому времени меня уже определили в школу. Происходящее в классе по большей части отталкивало меня. Однако не судилищам, какие любил устраивать господин Кнохе, обязан этот учитель тем, что остался в моей памяти, а своему достоинству провидца, предсказывающего будущее. Шел урок пения. Мы разучивали «Песню всадников» из «Валленштейна»:

По коням, друзья, живей, живей!
И – в поле, где ветер и воля!
В походах мы кое-что значим, ей-ей!
И сердце там весит поболе [7] .

Господин Кнохе обратился к классу с вопросом, как мы

поняли смысл последней строки. Ответить никто, разумеется, не смог. Кнохе это, по-видимому, устроило, и он объявил: «Поймете, когда станете взрослыми».

От берега взрослой жизни, казалось мне тогда, меня отделяет река многих лет, подобно тому, как воды канала образуют преграду между мной и берегом, с которого смотрел на меня цветник, берегом, где я не бывал, поскольку на прогулках гувернантка водила меня за ручку. Позднее, когда никто уже не определял мои пути и сам я уже понял, в чем смысл «Песни всадников», изредка случалось мне бродить поблизости от цветника на набережной Ландверского канала. Но казалось теперь, что цветы его расцветали реже, чем прежде. И об имени, которое мы с ним вместе когда-то сохранили в памяти, цветник помнил мало – так же, как в строчке из «Песни всадников», теперь, когда я понял ее, мало оказалось того смысла, который мы должны были однажды постичь, согласно предсказанию учителя пения господина Кнохе. Пустая могила и взвешенное на весах сердце – два загадочных образа, разгадки которых мне и впредь придется напрасно ждать от жизни.

Крытый рынок

Прежде всего не подумайте, что называли его крытым рынком. Нет, все говорили «Крышка»: слова настолько пообтерлись из-за привычного употребления, что утратили первоначальное значение. А из-за привычности моих хождений через «Крышку» стали затертыми картины, какие являлись там взору; все они так потускнели, что ни одна уже не выражала своего первоначального содержания – купли и продажи. Миновав вход с тяжелыми дверями, мощно раскачивавшимися взад-вперед, ты оказывался в рыночном зале, и тут уже было не оторвать взгляда от плиток под ногами, влажных от воды, натекшей с лотков рыбников, или той, которой изредка ополаскивали пол: только и гляди, как бы не поскользнуться на какой-нибудь морковке или листьях салата-латука. За проволочными загородками, снабженными номерами, восседали, словно на тронах, малоподвижные особы, жрицы продажной Цереры [8] , торговки, предлагавшие всевозможные плоды полей и садов, любую годную в пищу рыбу, птицу и теплокровных животных; сводни, неприкосновенные колоссы, с ног до головы в чем-то шерстяном, вязаном; сидя за прилавками, они подавали друг другу сигналы: блеском пуговиц, или хлопком ладони по переднику, или тяжким вздохом, вздымающим необъятную грудь. Не под этими ли юбками что-то бродило, как дрожжи, набухало и наливалось соками? Не там ли – поистине плодородная почва? И не сам ли рыночный бог ронял в их лоно товар: ягоды и устриц, улиток и грибы, куски мяса и капустные кочаны? Не он ли, незримый, был с ними, ему отдававшимися, когда они, разморенные, прислонясь к своим бочонкам или свесив меж колен руки, в которых болтались на цепочке весы, безмолвно взирали на вереницу домашних хозяек, тащивших тяжелые сумки и продуктовые сетки да еще и с мучительным трудом гнавших перед собой по скользким зловонным проулкам выводки цыплят?

Жар

Всякий раз начало какой-нибудь болезни давало мне урок, показывая, с каким выверенным тактом, осторожно и ловко заявлялось ко мне это злосчастье. Оно решительно не хотело поднимать шум. Все начиналось с едва заметных пятнышек на коже, с легкой тошноты. Болезнь, казалось, привыкла терпеливо ждать до тех пор, пока врач не приготовит ей квартиру для постоя. Врач приходил, осматривал меня и объяснял, как важно, чтобы дальнейших событий я дожидался, лежа в кровати. Читать он мне запрещал. А у меня и так-то находились дела поважней. Пока голова еще оставалась мало-мальски ясной, я мысленно перебирал все, что должно со мной случиться. На глаз прикидывая расстояние от кровати до двери, я гадал, долго ли еще мой голос сможет его одолевать. Мне мерещилась ложка, на краешке которой теснились мамины просьбы, и виделось, как ложка, бережно поднесенная к моим губам, вдруг показывала свою истинную сущность, резко вливая мне в рот горькое лекарство. Как человек во хмелю, бывает, все что-то подсчитывает, воображая, будто делает это лишь ради самопроверки: способен ли еще? – так вот пересчитывал я солнечных зайчиков, плясавших на потолке моей комнаты, или все новыми и новыми пучками располагал веточки на обоях.

Болел я часто. Наверное, поэтому у меня появилась черта, которую все принимают за терпеливость, но на самом деле она ничуть не похожа на добродетель: обыкновение смотреть на то, как постепенно приближается ко мне что-нибудь очень важное; вот так же приближались к моей кровати часы болезни. Из-за этого свойства я, где-нибудь путешествуя, не испытываю чудесной радости, что разом налетает, когда наконец подходит поезд, которого ты долго, томительно ждал; по этой же причине моей страстью стало делать подарки; ведь радостное удивление человека, получившего подарок, я, даритель, предвижу заранее. Более того, привычка к долгому ожиданию, которое поддерживает тебя, словно подушки – больного, моя склонность издали вглядываться в то, что еще только ждет впереди, обернулась во взрослой жизни новой стороной: женщины казались мне тем красивее, чем спокойней и чем дольше я их дожидался.

Кровать, в обычные дни бывшая местом самого уединенного и покойного существования, во время болезни обретала публичное достоинство и почтенность. Надолго переставала она быть местом моих уединенных вечерних занятий: чтения взахлеб и игры со свечкой. Под подушкой уже не лежала книга, которую я

каждую ночь последним усилием туда заталкивал, начитавшись вопреки запретам. Не случалось за эти недели и потоков лавы с крохотными пожарами, расплавлявшими стеарин. Наверное, болезнь не отнимала у меня, в сущности, ничего, кроме этой игры, я забавлялся ею в молчании, с замирающим дыханием, и неизменно сопровождал ее сокровенный страх – предвестник другого страха, в более поздние времена бывшего спутником такой же игры на такой же границе ночи. Болезнь должна была прийти, чтобы очистить мою совесть. И совесть становилась чистой, как каждая пядь гладкой простыни, дожидавшейся меня вечером на свежей постели. Стелила мне обычно мама. Сидя на диване, я смотрел, как она взбивает подушки, встряхивает одеяло, и думал о тех вечерах, когда после ванны мне подавали на особом подносе легкий ужин. Под глазурью фарфорового подноса, среди плетей лесной малины прокладывала себе путь женщина, старавшаяся удержать на ветру знамя с девизом: «На восток или на запад поезжай – дома лучше, чем в гостях, не забывай!» И воспоминание об ужине в кровати и о листьях малины были тем приятнее, что тело, казалось, навсегда распростилось с низкой потребностью в пище. Зато оно жаждало историй. Мощное течение, переполнявшее их, пронизывало тело, сметая болезнь, как сор и щепки. Боль была плотиной, которая задерживала течение рассказа лишь ненадолго; окрепнув, оно размывало плотину боли и уносило ее в бездну забвения. Мама, ласково гладя, разравнивала ложе этому потоку. Я любил ее ласку: в маминой руке жили истории, которые она соглашалась мне рассказать. И озарялось светом то немногое, что я с тех пор знаю о своих предках. Припоминались то карьера кого-нибудь из предков, то жизненные правила дедушки, словно они должны были разъяснить мне, что я поступил бы неосмотрительно, из-за своей ранней смерти лишившись крупных козырей, которые оказались у меня на руках благодаря предкам. Насколько близко я очутился от смерти, мама проверяла два раза в день. Она осторожно подходила с термометром к окну или к лампе и обращалась с тонкой стеклянной трубочкой так, словно в ней заключена моя жизнь. Позднее, когда я подрос, представление о том, что в теле живет душа, было для меня не более хитрой загадкой, чем загадка стеклянной трубочки термометра, в которой, по моему убеждению, была заключена вечно ускользавшая от взгляда нить жизни.

Измерения утомляли. После них мне больше всего хотелось побыть одному и повозиться с моими подушками. Потому что горы подушек я полюбил еще тогда, когда о настоящих горах и холмах не имел понятия. А тут я был в сговоре с могучими

силами, создающими горы и холмы. Иногда я устраивал так, что в моей горной стене раскрывалась пещера, и заползал внутрь. Укрывшись с головой одеялом, я старался уловить в темном жерле хоть какой-нибудь звук, изредка бросая в эту безмолвную пасть слова, которые возвращались оттуда сложившимися в истории. Порой и мои пальцы не оставались в стороне, они показывали представления или играли в «магазин»: за прилавком – это были соединенные средние пальцы – два мизинца усердно кланялись покупателю, которым был я сам. Но все слабей становилось желание следить за их игрой, слабели и силы. А под конец я уже почти без интереса наблюдал за движениями моих пальцев, которые, словно ленивый и злокозненный сброд, копошились в неведомом, охваченном пламенем городе. Отважиться помешать им – какое там! Даже если эти две шайки объединились, не замышляя чего-то ужасного, все равно не было ни малейшей уверенности, что они не уйдут, каждая своей дорогой, тайком, как пришли. Дорога же иногда была запретной, а в конце дороги долгожданный отдых сулил заманчивые видения: призраков, которые витали в огневой пелене, заволакивающей все под опущенными веками. Ибо, несмотря на всю заботу или любовь, комната, где находилась моя кровать, оставалась в стороне от жизни нашего дома. Надо было дожидаться вечера. Тогда дверь отворялась, и от порога ко мне плыла лампа под покачивающимся округлым колоколом, и мне казалось: это золотой шар жизни, что закручивал вихрем каждый час дня, впервые отыскал путь в мою комнату, будто в какой-то дальний закуток. И еще до того как вечер удобно и уютно располагался у меня, начиналась новая жизнь – вернее, старая жизнь моего болезненного жара вдруг расцветала под светом лампы. Раз уж приходилось лежать в кровати, я мог получить кое-что полезное от света, что другим так просто не давалось. Постельный режим, а также близость стены, у которой стояла кровать, я использовал, чтобы почтить свет тенями на стене. Теперь уже на обоях шли все спектакли, какие я разрешал играть пальцам, и они были еще неопределенней, солидней и сдержанней. «Веселые детки не боятся вечерних теней, – так было написано в книжке, посвященной играм, – тени служат им для забавы». Дальше шли щедро снабженные рисунками указания, следуя которым можно было показать на стене горного козла и гренадера, лебедя и зайчика. Самому мне мало что удавалось, кроме разинутой волчьей пасти. Зато уж была она громадная, раскрытая так широко, что могла принадлежать, конечно, только волку Фенриру [9] , и этого разрушителя мира я выпускал на волю в моей комнате, где за меня самого вела войну детская

болезнь. А потом она уходила. Приближавшееся выздоровление, словно роды, разрешало узы, которыми в очередной раз нестерпимо больно меня стянул жар. Все чаще прислуга являлась в моей жизни вместо мамы, по ее поручению. А однажды утром, после долгого перерыва, еще совсем слабый, я вновь затрепетал в ритме выколачивания ковров, который опять врывался в окна, и проникал он в детское сердце глубже, чем в сердце мужчины – голос возлюбленной. Выколачивание ковров – говор городских низов, настоящих взрослых людей, эти речи никогда не умолкали и не уклонялись от существа дела, порой не спешили с ответом, однако лениво, приглушенно на все отзывались, порой же ни с того ни с сего пускались галопом, как будто там, внизу, спешили, опасаясь дождя.

Болезнь уходила так же неприметно, как вначале привязывалась. Но когда я почти уже забывал о ней, она посылала свой последний привет из моего школьного табеля. Там на нижней строке указывалось общее число пропущенных уроков. Эти, пропущенные, не казались мне серыми, однотонными, как те, которые я посетил, напротив, они были словно разноцветные нашивки на груди солдата-инвалида. И самая запись: «Отсутствовал на ста семидесяти трех уроках» – в моих глазах была тем же, что длинная планка с почетными наградами.

Выдра

Увидев квартиру и городской квартал, где человек живет, можно составить себе представление о его натуре и характере; это же, полагал я, относится и к зверям в Зоологическом саду. От страусов, стоявших шеренгами на фоне сфинксов и пирамид, и до бегемота, проживавшего в пагоде, словно какой-нибудь жрец или маг, уже начавший воплощаться в демона, которому он служит, – наверное, не было зверя и птицы, чье жилище не внушало бы мне симпатии или, напротив, страха. Лишь немногие из них были примечательны самим местом своего жительства: обитатели рубежей, то есть окраин Зоологического сада, к которым примыкали кофейни и территория выставок. А среди всех жителей этих мест самой удивительной была выдра. Ближе всего от нее находились ворота, что у Лихтенштейнского моста. Вообще было трое ворот, но через эти шло совсем мало народу, и открывалась за ними самая сонная часть сада. Аллея, принимавшая посетителя, своими высокими фонарями с белыми шарами напоминала безлюдные набережные Айльзена или Бад-Пирмонта; задолго до того, как оба эти городишка настолько пришли в запустение, что сделались древнее античных терм, этот уголок Зоологического сада уже был чем-то связан с будущим. Пророческая окраина! Есть растения, которым приписывают способность наделять человека даром провидения, есть и такие места. Чаще всего – заброшенные, безлюдные углы и окраины, а кроме того, купы деревьев, стиснутые меж каменных стен, или тупики и палисадники, где никто не задерживается надолго. В таких местах кажется, что все предстоящее нам на самом деле уже в прошлом. Вот и в том уголке Зоологического сада, если я туда забредал, мне всегда даровалась возможность заглянуть за ограду бассейна, который находился в центре некоего подобия курортного парка. Бассейн был клеткой выдры. Самой настоящей клеткой, так как ограждал этот бассейн не только парапет, но еще и толстые железные прутья. На дальней его стороне вплотную к овальной стенке стоял маленький грот среди скал. Грот был задуман как домик выдры, однако я ни разу не видел ее там. По этой причине я и ждал, бесконечно долго ждал, не отводя взгляда от непроницаемо черной бездны, надеясь заметить зверька. Но если и выпадала такая удача, то лишь на мгновение: блестящая обитательница дождевой цистерны с молниеносной быстротой опять скрывалась в черной, как ночь, воде. Конечно, не в цистерне держали выдру. Но всегда, когда я вглядывался в темную воду, мне думалось, что дождь бежит во все сточные люки города лишь

затем, чтобы достичь вот этого бассейна и обеспечить водой его зверька. Ведь обитал здесь зверек избалованный – грот, пустой и сырой, был не приютом его, а храмом. Священным животным дождевой воды – вот кем была выдра. Но зародилась ли она в сточных дождевых или еще каких-то водах либо только живет благодаря дождевым потокам и ручейкам? Это оставалось для меня загадкой. Зверек всегда был чем-то чрезвычайно занят, как будто в той бездне иначе нельзя. Но я мог бы долгими сладостными днями простаивать, прижавшись лбом к прутьям ограды, и все равно не нагляделся бы на него вдоволь. А он и тут выказывал свое тайное родство с дождем. Долгий сладостный день никогда не бывал для меня более долгим и сладостным, чем тогда, когда дождь своим частым – или редким – гребешком медленно разбирал его на пряди часов и минут. Послушно, как девочка, день подставлял голову под серую расческу дождя. А я смотрел ненасытным взором. Я ждал. Нет, не когда он перестанет. Ждал, когда дождь зашумит еще сильней, еще бурливей. Я слышал, как барабанит он по стеклу, как изливается из водосточных труб и журчащими потоками мчится в желоба. Добрый дождь с головой укрывал меня. Он баюкал меня песней о моем будущем – так напевают колыбельную над детской кроваткой. И я не сомневался, что под дождем растешь. Глядя дома в мутное оконное стекло, я чувствовал себя гостем в домике выдры. Однако по-настоящему я осознавал это лишь тогда, когда снова оказывался возле ее клетки. И опять приходилось долго дожидаться минуты, когда мелькнет над водой блестящее черное тельце и мгновенно скроется в глубине, спеша по своим неотложным делам.

Павлиний остров и Глинике

Лето вплотную подводило меня к Гогенцоллернам. В Потсдаме неподалеку от нашей летней дачи находились Новый дворец и Сан-Суси, пейзажный парк и Шарлоттенхоф, в Бабельсберге – дворец и парки. Близость этих династических владений никогда не мешала моим играм, ибо земли под стенами королевских сооружений я попросту захватывал. Можно было бы написать историю моего правления, которое началось возведением меня на престол с соизволения летнего дня и завершилось переходом моей империи под власть поздней осени. Да и вся моя жизнь была заполнена сражениями за империю. Велись они не с каким-нибудь императором-врагом, а с самой землей и духами, которых она посылала воевать со мной.

Самое тяжелое поражение постигло меня в послеобеденный час на Павлиньем острове. Кто-то мне сказал, что можно найти там, в траве, павлиньи перья. Насколько же заманчивее стал в моих глазах этот остров, едва лишь он посулил столь великолепные трофеи! Но вот я понапрасну переворошил траву на всех газонах, обшарив их вдоль и поперек в поисках обещанного, и меня охватила печаль куда более сильная, чем обида на павлинов, прохаживавшихся во всей своей нетронутой красе возле вольеров. Для детей находки – что для взрослых победы. Я искал сокровище, которое остров мог бы отдать мне в полную собственность, подарить мне и только мне. Одно-единственное перо, и я завладел бы не только островом: весь этот день стал бы моим, и переезд на пароме из Закрова – заодно с пером они досталось бы мне в полную и неоспоримую собственность. А теперь остров был потерян, а с ним и мое второе отечество – Земля Павлинов. И лишь тогда я, перед тем как вернуться домой, прочитал в блестящих окнах дворца высвеченные ярким солнцем таблички: в тот день мне нельзя было войти туда.

Горе мое не было бы столь безутешным, не лишись я вместе с пером, которого не нашел, еще и всех наследственных земель. И точно так же не было бы столь великим мое блаженство, когда я научился ездить на велосипеде, если бы на нем я не покорял новые земли. Учился я в одном из асфальтированных залов, где во времена моды на велосипедный спорт этому умению, которое сегодня дети запросто перенимают друг у друга, обучали столь же основательно, как вождению автомобиля. Зал находился неподалеку от Глинике; он был построен в ту эпоху, когда спорт и свежий воздух еще не стали неразлучными друзьям, когда еще не

подружились между собой и различные методы обучения. Каждый зал ревниво старался отличаться от прочих благодаря собственным помещениям и крикливым костюмам. А еще в этот ранний период тон в спорте – особенно том, каким здесь занимались, – задавали эксцентрические выходки. Поэтому наряду с мужскими, дамскими и детскими велосипедами по залу раскатывали модные сооружения, у которых переднее колесо было в четыре-пять раз больше заднего, а легкое высокое седло служило стойкой акробатам, разучивавшим свои номера.

В купальнях часто устраивают отдельные бассейны для неумеющих плавать и для опытных пловцов; вот и в этом зале было подобное разделение: новички должны были кататься по асфальту, другим же разрешалось выезжать из зала и кататься в парке. Я далеко не сразу перешел во вторую группу. Но в один прекрасный летний день меня выпустили на волю. Я был потрясен. Дорога покрыта гравием, камешки скрежетали, и ничто не защищало глаза от слепящих солнечных лучей. На асфальте-то везде лежала тень, и не было там никаких дорог – сплошное удобство. А тут опасности подстерегали за каждым поворотом. Велосипед имел тормоз, дорога поначалу шла ровно, а все же велосипед покатился словно сам собой. Я почувствовал себя так, словно сел на него впервые в жизни. Руль начал проявлять норов. Всякий бугорок на дороге старался нарушить мое равновесие. Я давно уж забыл, что значит падать, но тут на беду сила тяжести предъявила свои права, как будто сто лет дожидалась подходящего случая. Дорога после небольшого подъема вдруг резко пошла под уклон; над земляным валом, с гребня которого меня понесло вниз, заклубилась туча пыли и камешков, да еще и ветви хлестали по лицу; но в тот самый миг, когда я уже простился с надеждой усидеть в седле, впереди замаячил отлогий подъем к воротам тренировочного зала. Сердце колотилось жутко, однако я нырнул в тень зала со всего разгона, который получил на пригорке. И соскочил я с велосипеда, преисполненный чувством, что этим летом мне без всякого труда достались Кольхазенбрюк с железнодорожной станцией, озеро Грибнитцерзее и перголы, ведущие от его берега к причалам, замок Бабельсберг с его суровыми зубцами и благоуханные крестьянские сады Глинике, ибо я обручился с этой землей; вот так же легко мне достались бы герцогства и королевства, женись я на особе из императорской фамилии.

Весть о смерти

Мне было лет пять, наверное. Однажды вечером, когда я уже лежал в кровати, в комнате появился отец. Он пришел пожелать мне доброй ночи. Может быть, не совсем по своей воле он сообщил мне о смерти одного родственника. Тот был пожилой человек, мало интересовавший меня. Отец упомянул и о каких-то подробностях. Я не очень хорошо запомнил его рассказ. Зато комната в тот вечер запомнилась так живо, словно я знал, что однажды мне вновь придется вернуться к этой истории. Я давно уже был взрослым, когда услышал, что тот родственник умер от сифилиса. Отец же зашел ко мне тогда, чтобы не сидеть в одиночестве. Однако не со мной ему хотелось побыть, а просто – в моей комнате. Им с комнатой никто другой не был нужен.

Цветочный двор, 12

Ни один звонок не звенел радушней. За порогом этой квартиры я чувствовал себя даже более защищенным, чем дома. Кстати, улицу я называл не Цветочный двор, а Цвет-точный: был там громадный цветок из плюша, который внезапно, вынырнув из своей пышной обертки, оказывался у меня перед носом. А в глубине цветка сидела бабушка, мать моей мамы. Она была вдова. Мы навещали эту старую даму, проводившую дни в застланном ковром и украшенном низенькой балюстрадой эркере, который смотрел на Цветочный двор, и трудно было представить, что в прошлом она совершала большие морские путешествия и даже выезжала на экскурсии в пустыню – их устраивало туристическое бюро «Штанген-райзен», куда она обращалась раз в несколько лет. Из всех квартир высокой знати, в которых я бывал, лишь эта принадлежала гражданам мира. По виду самой квартиры ничего подобного нельзя было заметить. Но открытки с видами Мадонны ди Кампильо и Бриндизи, Вестерланда и Афин и прочие, присылавшиеся путешественницей, хранили воздух Цветочного двора. А крупные, разборчивые строчки, бежавшие внизу или клубившиеся на небе картинок, не оставляли сомнений: бабушка так хорошо обжилась на новом месте, что оно сделалось колонией Цветочного двора. А когда передо мной вновь открывалась родная страна бабушки, я ступал по плашкам паркета робко – казалось, будто и они, как когда-то сама хозяйка, танцевали на волнах Босфора, и чудилось, что в персидских коврах еще осталась пыль Самарканда.

Какими словами описать стародавнее чувство буржуазной надежности, исходившее от этой квартиры? Обстановка и утварь ее многочисленных комнат нынче не оказали бы чести ни одному старьевщику. Ведь, несмотря на то что вещи семидесятых годов намного солидней, чем более поздние, в стиле модерн, ни с чем несравнимой была в них беспечность, с которой они принимали все на свете, а в том, что касалось их собственного будущего, всецело полагались на добротность материала, но отнюдь не на благоразумный расчет. Преобладала здесь мебель, своенравно соединившая в своем убранстве черты различных эпох и потому преисполненная веры в себя и собственную долговечность. Нужда не могла бы угнездиться в этих комнатах, где не находилось места даже смерти. Умирать здесь было негде – посему обитатели квартиры умирали в санаториях, а мебель, отписанная наследникам, незамедлительно шла на продажу. Смерть здесь не была предусмотрена. Поэтому днем здешняя обстановка казалась

воплощением уюта, вечером же становилась царством морока. Подъезд, куда я входил, превращался в логово коварного альва, по чьей воле тяжелели и слабели мои руки и ноги, когда же до заветного порога оставалось две-три ступеньки, злой дух своими колдовскими чарами сковывал меня необоримо. Подобные кошмары были ценой, которую я платил за уют.

Бабушка умерла не в Цветочном дворе. Долгое время в доме, стоявшем как раз напротив, жила мать моего отца, которая была еще старше. Она тоже умерла не дома. И улица эта сделалась в моих глазах чем-то вроде Елисейских Полей, царством теней бессмертных, но покинувших нас бабушек. А так как фантазия, набросившая на Цветочный двор свою вуаль, любит, чтобы края этого покрова затейливо волнились от ее непостижимых прихотей, то она и превратила магазин колониальных товаров, расположенный неподалеку, в памятник моему деду, коммерсанту, – лишь потому, что владелец лавки тоже носил имя Георг. Поясной, в натуральную величину портрет рано умершего деда, парный с портретом его жены, висел в коридоре, который вел в дальние помещения квартиры. Эти дальние комнаты пробуждались к жизни от случая к случаю. Визит замужней дочери заставлял отвориться дверь давно не использовавшейся по назначению гардеробной; другая комната принимала меня, когда взрослые ложились отдохнуть после обеда; из третьей в те дни, когда в дом приходила портниха, доносился стрекот швейной машинки. Но среди всех отдаленных помещений этой квартиры ни одно не шло в сравнение с лоджией: то ли потому, что ею, более скромно обставленной, пренебрегали взрослые, то ли потому, что сюда доносился приглушенный уличный шум, а может, по той причине, что с лоджии я видел чужие дворы, а в них швейцаров, детей и шарманщиков. Собственно говоря, находясь на лоджии, я не столько видел какие-то фигуры, сколько слышал голоса. К тому же квартал этот был из благородных, так что жизнь в здешних дворах не очень-то кипела: должно быть, некая толика спокойствия, присущего богатым людям, ради которых тут работали, передалась самой работе и на донышке рабочей недели поблескивала капелька воскресенья. Потому-то воскресенье и было днем лоджии. Все прочие комнаты и помещения квартиры были как бы прохудившимися и не удерживали воскресенья – просочится сквозь них да убежит, – лишь лоджия, смотревшая во двор, с его стойками для выбивания ковров, с другими лоджиями, сберегала воскресенье, и ни одна партия колокольного груза, который наваливали на нее церковь Двенадцати Апостолов и церковь Святого Матфея, не срывалась вниз, все до единой они громоздились там до конца воскресного

дня.

Комнат в той квартире было много, да еще некоторые комнаты были преогромные. Чтобы поздороваться с бабушкой, сидевшей в эркере, где рядом с корзинкой для рукоделия передо мной вскоре появлялись фрукты или конфеты, я должен был из конца в конец пройти громадную столовую, а затем комнату с эркером. Лишь попав сюда впервые на Рождество, я понял, для чего на самом деле нужны эти комнаты. На длинных столах яблоку некуда было упасть – столько понаставлено подарков и сластей, столько народу получало подарки! Тарелки теснились друг к дружке, и не приходилось рассчитывать, что сможешь удержать завоеванную территорию, если ближе к вечеру, после праздничного обеда, к столу звали еще и старого секретаря или ребенка швейцара. Но не поэтому праздник был таким непростым, а из-за его начала, когда распахивались двустворчатые двери. В глубине большой комнаты сверкала елка. На длинных столах – ни единой пяди, что не манила бы к себе нарядной тарелкой с марципаном, украшенной зелеными еловыми веточками, и отовсюду на меня с улыбкой смотрели игрушки и книги. Лучше не очень-то заглядываться. Легко ведь испортить себе праздник, если поспешишь настроиться на какой-нибудь подарок, а он достанется кому-то другому в полную собственность. Чтобы избежать такой напасти, я застывал на пороге как вкопанный, с улыбкой, совершенно загадочной для других: то ли блеску елки я улыбался, то ли приготовленным для меня подаркам, к которым, глубоко потрясенный, не смел приблизиться. Однако было кое-что еще, более важное для меня, чем эти фальшивые причины, да, пожалуй, и бывшее причиной истинной. Ведь подарки пока принадлежали не мне, а дарящему. Они были хрупкие, я боялся, что у всех на глазах схвачу их как-нибудь неловко. Только за пределами комнаты, в передней, когда прислуга заворачивала наши подарки в бумагу и их зримая форма исчезала в свертках и коробках, зато руки нам начинало оттягивать нечто весомое, – вот тогда мы по-настоящему верили, что чем-то завладели.

Но это происходило спустя несколько часов. С целыми охапками тщательно завернутых и перевязанных подарков мы выходили на тонувшую в сумерках улицу. У дверей ждал извозчик, нетронутый снег лежал на оконницах и оградах, сероватый – на мостовой; с Лютцовской набережной доносился колокольчик чьих-то саней, загоравшиеся один за другим газовые фонари, словно вехи, отмечали путь фонарщика, который даже этим благословенным вечером бродил по улицам, взвалив на плечо свой шест. В эти минуты город был притихший и

неподвижный – неповоротливый, тяжеленный куль, ведь в нем помещались и я сам, и мое счастье.

Зимний вечер

Зимними вечерами мама иногда брала меня с собой, отправляясь за покупками. Темный, неведомый Берлин простирался передо мной при свете газовых фонарей. Мы не покидали старого западного района, где улицы жили в добром согласии друг с другом и были не столь притязательны, как те, которым Берлин стал отдавать предпочтение позднее. Эркеры и колонны трудно было разглядеть, а на фасадах светились окна. Может, мешали тюлевые гардины, шторы, а может, дело было в сетке под висячей газовой лампой, но свет не выдавал секретов освещенных комнат. Ни с кем он не водился, признавал лишь себя самого. А меня он привлекал и настраивал на раздумья. Он и сегодня, в воспоминаниях, такой же. И любит приводить мне на память одну из моих старых открыток. На ней какая-то берлинская площадь. Дома нежно-голубые, ночное небо – темно-синее, на небе луна. Луна и все окошечки домов прорезаны в картоне. Поднесешь открытку к лампе – в облаках на небе и в окошечках сразу затеплится желтоватый свет. Изображенное место было мне незнакомо. Подпись гласила: «Галленские ворота». Галле – город на реке Зале. Ворота, а за ними зал – это озаренный светом грот, в котором обретаются мои воспоминания о зимнем Берлине.

Кривая улица

В сказках иногда рассказывается о проходах и галереях, в которых по обеим сторонам теснятся лавки, невероятно заманчивые и опасные. Когда-то я, мальчуган, прекрасно знал такой проход, назывался он Кривой улицей. Там, где она делает самый резкий поворот, стояло и самое угрюмое здание: плавательный бассейн со стенами из багрового глазурованного кирпича. Несколько раз в неделю в бассейне меняли воду. Тогда на входной двери появлялось объявление: «Временно закрыто», и казнь моя откладывалась. Я шел к магазинным витринам, чтобы, припав к изобилию отживших вещей, которые они хранили, утолить свою кровную страстишку. Против бассейна находился ломбард. На тротуаре толпились старьевщики со всякой домашней утварью. Приютились здесь и лавки дешевой одежды.

Там, где Кривая улица на западе брала свое начало, находился магазин писчебумажных принадлежностей. Взгляд непосвященного привлекали в его витрине дешевые книжки о Нике Картере [10] . Но я-то знал, где – в глубине – искать неприличные брошюрки. Народу тут было мало. Я подолгу глазел на витрину, чтобы сперва обеспечить себе алиби благодаря конторским гроссбухам, циркулям и наклейкам, а уж потом нырял прямиком в лоно сего писчебумажного творения. Наш инстинкт угадывает, что в человеке самое упрямое, и с этим упрямым сливается. Цветные фонарики, лампионы в витрине празднично освещали двусмысленное событие.

Неподалеку от плавательного бассейна находился городской читальный зал. Его чугунные галереи не были для меня ни слишком высоки, ни холодны. Я чуял: здесь и впрямь мои угодья. Чуял, ибо первым меня встречал запах. Словно за тонкой оберегающей завесой, он дожидался меня за сырым и холодным воздухом, дышавшим мне в лицо еще на лестнице. Железную дверь я открывал боязливо. Но едва я оказывался внутри, там, в тишине, силы мои начинали крепнуть.

Ведь в бассейне мне более всего был противен гул голосов, сливавшийся с гуденьем воды в трубах. Этот шум обрушивался на меня еще в вестибюле, где посетители покупали костяные жетоны – пропуска в бассейн. Переступить его порог означало проститься с земным миром. Под этими сводами уже ничто не могло спасти тебя от водной стихии. В водной толще жила богиня с раскосыми глазами, которой не терпелось приложить тебя к груди и поить, поить из хладных чаш до тех пор, пока на земле не исчезнет о тебе всякая память.

Зимой, когда я после бассейна шел домой, уже горели фонари. Но все-таки я пускался окольным путем, который вновь приводил на заветный угол, причем из тылов, как будто я намеревался поймать кого-то с поличным. В магазине тоже горел свет. Блики в витрине смешивались с полосой света от уличных фонарей. При таком вот двойном свете витрина сулила еще больше наслаждений, чем обычно. Ибо чары разврата, представленного доходчивыми рисунками на шуточных открытках и бумажных обложках, покоряли меня особенно легко, поскольку я знал, что на сегодня все свои обязанности выполнил. И свои сокровенные переживания я мог бережно принести домой, к свету моей лампы. Мало того – даже кровать часто препровождала меня назад, к магазину и людскому потоку, стремившемуся по Кривой улице. Иные парни толкали меня. Однако высокомерие, которое они, шедшие своей дорогой, будили во мне, дома никогда не разыгрывалось. Тишина комнаты наполняла мой сон невнятным шорохом, вознаграждавшим меня за все, что претерпел я в ненавистном бассейне.

Чулок

Первым моим шкафом, открывавшимся всегда, когда ни пожелаешь, был комод. Только и надо было – потянуть за округлую ручку, и дверца, щелкнув замком, распахивалась. Среди рубашек, передников, сорочек, хранившихся за этой дверцей, я кое-что обнаружил, отчего комод сразу стал комодом приключений. Поначалу надо было прокладывать путь в самый дальний его уголок, там я натыкался на свои чулки, сложенные горкой; они были свернуты особым образом, как было принято в старину. Каждая свернутая пара напоминала, пожалуй, кошелек. Я не знал большего удовольствия, чем то, какое испытывал, просунув пальцы в самую глубину свернутой пары чулок. Я искал там не тепла. Запустив руку в такой кошель, я захватывал «начинку» – она-то и влекла меня в укромную глубину. Сжав «начинку» в кулаке и удостоверившись, что и впрямь завладел мягкой шерстяной массой, я переходил ко второй части игры, состоявшей в раскрытии. Ибо я старался вытянуть «начинку», выудить ее из шерстяного кошелька. Я все больше вытаскивал «начинку» наружу, пока не случалось ошеломляющее событие: «начинка» – вот она, передо мной, а кошелька, в котором она находилось, нет! Сколько раз ни повторял я этот опыт, все было мало. Он показывал мне, что форма и содержание, покров и сокрытое суть едины. Он учил меня извлекать правду из поэзии столь же бережно, как детская ручонка вытаскивает чулок из его кошелька.

Обормотя

В одном старинном детском стишке рассказывается о тете Моте. Имя Мотя ничего мне не говорило, так что создание это превратилось у меня в призрак по имени Обормотя.

Я рано научился оборматывать-обматывать самого себя словами-кружевами. Способность подмечать сходство между совершенно разными предметами и явлениями есть не что иное, как слабый отзвук нашей древней тяги к подражанию – во внешнем облике или в поведении. Эту тягу пробуждали во мне слова. Но только те, которые выражали мое сходство не с хорошими детками, а с комнатами, предметами обстановки, одежды. Я был исковеркан своим сходством со всем, что меня окружало. Я жил в девятнадцатом столетии, точно моллюск в своей скорлупе, а ныне оно лежит передо мной пустое, как мертвая раковина. Вот я подношу ее к уху. Что же я слышу? Не гром артиллерии или бальных танцев Оффенбаха, и даже не цокот копыт по булыжной мостовой, и не фанфары на параде почетного караула. Нет, я слышу бойкое громыханье угля, сыплющегося из жестяного ведерка в железную печку, глухой хлопок вспыхнувшего газового рожка да тихое позвякивание керосиновой лампы в латунном обруче, что раздавалось, когда по улице проезжала повозка. И еще звуки: бренчанье связки ключей, звон двух колокольцев – на парадной лестнице и на черной, но вот наконец среди всего этого я слышу детский стишок.

«Расскажу тебе, дружок, я про Обормотю…» Стишок исковеркан; но исковерканный мир детства он вмещает целиком. Тетя Мотя, когда-то обитавшая в стишке, к тому времени, когда я впервые его услышал, давным-давно пропала без вести. А Обормотю отыскать было еще трудней. Долгое время она виделась мне в узоре веточек, проступавшем на моей тарелке под мутными разводами манной каши или саго. Ложка за ложкой, медленно пробирался я к ней. Что мне о ней рассказали – или я вообразил, будто рассказали, – не помню. Сама она ни слова не проронила. Наверное, голос у нее был еле слышный. Ее взгляд опускался долу вместе с несмелыми снежинками первого снега. Если бы хоть однажды она взглянула на меня, я всю жизнь прожил бы, не зная печали.

Потайные уголки

Я уже разведал в квартире все потайные уголки и каждый раз возвращался в них, словно в дом, где, как ты уверен, найдешь все без изменений. Сердце сильно стучало. Дыхание я старался затаить. Меня окружал мир материй. Я невероятно четко различал этот мир, молча ко мне льнувший. Вот так же, нутром, чует, что такое веревка и деревянный столб, висельник на виселице. Ребенок, спрятавшись за занавеской, сам делается чем-то колеблющимся, белым – призраком. Притаившись под обеденным столом, он превращается в деревянного идола, а резные ножки стола – это четыре колонны его храма. Когда ребенок прячется за дверью, он сливается с ней или же дверь скрывает его, как громадная маска, и он, волшебник и жрец, мигом наведет колдовские чары на всякого, кто беспечно шагнет на порог. Ни в коем случае нельзя, чтобы спрятавшегося нашли. Ведь когда малыш корчит рожи, ему говорят: смотри, вот пробьют часы, и останешься таким навсегда. Насколько это верно, я понял, прячась в потайных уголках. Если бы меня нашли, я бы застыл истуканом под столом, или, как призрак, навсегда сплелся с нитями занавески, или до скончания века застрял за тяжелой дверью. Поэтому я громким криком изгонял демона, виновника всех этих превращений, как только искавший хватал меня, или, не дожидаясь этой секунды, оповещал криком, что уже сам освободился. Поэтому воевать с демоном мне никогда не приедалось. Квартира была моим арсеналом масок. Раз в году я находил в потаенных уголках квартиры – то были ее пустые глазницы и разинутый рот – подарки. Магический опыт становился наукой. А я, как инженер, расколдовывал темную родительскую квартиру и отыскивал пасхальные яйца [11] .

Призрак

Случилось это, когда мне шел седьмой или восьмой год и мы жили на летней даче в Бабельсберге. Вечером одна из служанок на какое-то время задерживается возле решетчатых ворот, выходящих на аллею, – не помню, как она называлась. Большой сад, на запущенных окраинах которого я кружил днем, уже закрыт для меня. Пора ложиться спать. Должно быть, я вдоволь наигрался: где-нибудь возле проволочной сетки забора, в кустах, в свое удовольствие пострелял резиновыми пульками из пистолета «Эврика» по деревянным птичкам, при метком выстреле падавшим вниз с мишеней, на которых они сидели среди нарисованных листьев.

Весь день я хранил свою тайну – сон, приснившийся мне накануне ночью. Во сне мне явился призрак. Место, где он делал что-то непонятное, я вряд ли сумел бы описать. Оно напоминало, однако, другое место, известное мне, хотя и недоступное. В комнате, где спали родители, был угол, завешенный выцветшей фиолетовой портьерой из плюша, там висели мамины домашние халаты. Тьма за этой занавесью была непроглядная, и угол был поганой противоположностью рая, который открывался мне в мамином бельевом шкафу. Полки в том шкафу застилала белая ткань, по ее кайме бежали вышитые синими нитками строки из «Колокола» Шиллера, а на полках было сложено стопками постельное и столовое белье: простыни, пододеяльники, скатерти, салфетки. От туго набитых шелковых саше, подвешенных к дверцам, которые с внутренней стороны были затянуты материей, собранной в складочки, исходил аромат лаванды. И получалось, что древнее таинственное волшебство прядения, созидания, некогда обитавшее в жужжащей прялке, разделено между адом и небесами. В моем сне все происходило в аду: призрак шарил возле деревянной стоячей вешалки, на которой висели шелка. Эти шелка призрак крал. Он не срывал их с вешалки, не уносил – в сущности, ничего с ними не делал. И все-таки я знал: он их крадет; так в иных легендах кому-нибудь случается тайком попасть на пиршество призраков и, хотя он не видит, чтобы призраки ели или пили, все равно знает: они пируют. Вот этот сон и был моей тайной.

На другую ночь я увидел – и тут как бы новый сон слился с тем, первым, – что родители в неурочный час вошли в мою комнату. А вот что они заперлись на ключ, я уже не увидел. Утром, когда я проснулся, оказалось, что завтракать нам нечем. Как я понял, квартиру ночью ограбили. Часов в двенадцать

пришли родственники, принесли самое необходимое. Ночью в дом пробралась большая шайка грабителей. Слава богу, объяснили мне, родители, услыхав шорохи в доме, сообразили, что шайка большая. Страшные гости находились в доме чуть не до утра. Родители тщетно дожидались рассвета, глядя в мое окно, надеясь, что удастся подать знак кому-нибудь на улице. Меня потом тоже расспрашивали. Однако я не подозревал о том, какую роль сыграла в этой истории служанка, которая вечером долго стояла у ворот. А о том, что мне казалось более важным – своем сне, – я промолчал.

Рождественский ангел

Все начиналось с елок. В одно прекрасное утро, когда мы шли в школу, на уличных углах стояли зеленые печати, город был опечатан по всем углам и краям, как большущий пакет рождественских подарков. А в один прекрасный день он лопался, и наружу высыпались игрушки, орехи, солома и елочные украшения – то был рождественский базар. Высыпались и еще кое-кто – бедняки. На рождественской тарелке с подарками скромным яблочкам и орехам, украшенным капелькой золотой пены, разрешалось показать себя бок о бок с марципаном – вот так же шли в богатые кварталы бедняки с разноцветными свечками и канителью. Богатые люди посылали своих деток купить у детей бедняков маленьких шерстяных овечек или подать милостыню, у самих-то, видно, от стыда рука не поднималась. Меж тем на веранде у нас уже стояла елка, которую мама купила тайком и велела принести в дом с черного хода. А еще чудеснее, чем преображение елки от огоньков свечек, было то, как приближавшийся праздник с каждым днем плотнее сплетался с ее ветвями. Шарманки во дворах, наигрывая хоралы, тянули и тянули эти последние дни и часы. Наконец они истекали – вновь наставал праздник Рождества; о самом раннем, какой помню, я и расскажу.

Я ждал у себя в комнате, когда наконец пробьет шесть. Ни в одном празднике взрослой жизни нет подобного часа, трепещущего, как стрела, в сердце дня. Уже стемнело, но лампу я не зажигал – боялся оторвать взгляд от окон на другой стороне двора, за которыми уже появились первые огоньки свечей. Из всех мгновений, какие только есть в жизни рождественской елки, самое тревожное – то, когда она жертвует темноте свой зеленый наряд, чтобы превратиться в недоступно высокое и все же близкое созвездие за мутным оконцем на заднем дворе. И когда такое созвездие одаривало своей милостью какое-нибудь сиротливое оконце, меж тем как многие другие оставались темными, а иные, пригорюнившись, едва теплились под газовым светом рано наставшего вечера, мне казалось, что за этими рождественскими окнами сошлись одиночество, старость и нищета – все то, о чем молчат бедные люди. Потом я снова вспомнил о подарках, которые как раз в эти минуты готовили для меня родители. С сердцем столь тяжелым, каким бывает оно лишь от сознания верной близости счастья, отвернулся я от окна – и вдруг почувствовал: в комнате кто-то есть, кто-то чужой. То был ветер, и потому слова, сами собой пришедшие мне на уста, были точно

складки, которыми свежий бриз внезапно сминает тяжелый парус: «Светлый праздник каждый год к нам приходит снова. Утешение несет Рождество Христово». С этими словами ангел, едва появившийся, улетел. Ждать в пустой комнате осталось недолго. Вскоре меня позвали в комнату напротив моей, елка праздновала свое торжество, от которого у меня пробудилось лишь чувство отчуждения, не покидавшее меня до того часа, когда она, сброшенная с пьедестала, засыпанная снегом или блестевшая под дождем, закончила праздник там, где не так давно его открыла шарманка.

Каждый день город обещал их, и каждый вечер обещание оказывалось неисполненным. Если же они случались, то, когда я прибывал на место, выяснялось, что их уже и след простыл, как будто это боги, которые уделяют смертным лишь мгновения. Разграбленная витрина, дом, откуда вынесли покойника, участок мостовой, где упала лошадь, – перед ними я останавливался, надеясь вдохнуть едва ощутимый запах, оставленный происшествием. Но к этому моменту он уже улетучивался, рассеянный и унесенный зеваками, разошедшимися на все четыре стороны. Кто же мог тягаться с пожарной командой, которую мчат на пожар скакуны? Кто мог что-то разглядеть за матовыми стеклами кареты «скорой помощи»? Бедствие, чей след мне не удавалось взять, летело в этих каретах по улицам. Были у него и вовсе необычайные средства передвижения, но те ревниво хранили свою тайну, как цыганские кибитки. А в них опять-таки оконца казались мне внушающими тревогу. Они были защищены железными решетками. И хотя просвет между прутьев был крошечный и ни один человек в него бы не протиснулся, я все-таки подстерегал злодеев, которые, как я думал, сидели взаперти в этих фургонах. Тогда я еще не знал, что в них возили судебные дела; тем яснее было мое представление, что эти фургоны – душные хранилища всяческих зол. Канал тоже всякий раз меня разочаровывал, а ведь вода в нем была такой медлительной и темной, словно познала все на свете печали и горести. Так нет же! Все до единого мосты, а их было много, кольцом спасательного круга были обручены со смертью лишь для виду! Проходя по мостам, я вновь и вновь убеждался: смерти они не познали. В конце концов я привык довольствоваться картинками, изображающими попытки возвращения к жизни утопленников. Но эти цирковые номера вызывали у меня не больше любопытства, чем каменные ратоборцы в Пергамском музее [12] .

Все было предусмотрено к пришествию несчастья: мы с городом уложили бы его на соломку; однако оно не показывалось. Ах, вот если бы мой взор мог проникнуть за плотно закрытые ставни больницы Святой Елизаветы! Проходя по Лютцовштрассе, я не раз замечал, что на многих больничных окнах ставни закрыты даже в солнечные дни. Мне сказали, что за этими ставнями палаты для тяжелобольных. Наверное, евреи, внимая рассказу об ангеле смерти [13] , который перстом поставил знаки на жилищах египтян, чьих первенцев ждала гибель, в воображении взирали на эти дома с таким же душевным

содроганием, с каким я смотрел на больничные окна с вечно закрытыми ставнями. Но совершал ли он – ангел смерти – свое дело? Или эти ставни иногда растворялись и тяжелобольной, вернее уже выздоравливающий, садился у окна?.. Итак, никто не хотел им пособничать – смерти, огню, да хотя бы обыкновенному граду, который нередко барабанил по стеклу моего окна, однако ни разу его не разбил? А разве неудивительно, что, когда несчастье и преступление наконец являлись, это событие сводило на нет все, буквально все – даже границу между грезой и реальностью. Потому и не помню я, то ли оно родилось в моих грезах, то ли множество раз в них повторялось. Во всяком случае, оно реально существовало в те минуты, когда я имел дело с цепочкой.

«Не забудь накинуть цепочку!» – напоминали мне, разрешая отворить кому-нибудь дверь. Страх, что чья-то нога просунется между косяком и дверью, не покидал меня все детские годы. И нескончаемым, как адская мука, был главный из всех моих страхов – кошмар, который, конечно же, случится лишь потому, что не накинули цепочку.

В отцовском кабинете стоит какой-то господин. Одет он не бедно. Он как будто вовсе не замечает моей мамы, говорит, не обращаясь к ней, так, словно она пустое место, и, уж конечно, ему ровным счетом наплевать, что в соседней комнате нахожусь я. Тон у этого человека скорее учтивый, вроде и не очень грозный. Опасней – тишина, когда он умолкает. В этой квартире нет телефона. Жизнь моего отца висит на волоске. Должно быть, сам он этого не сознает, а ведь прежде, чем он встанет из-за секретера – он сидел, он даже не успел подняться – и укажет на дверь господину, который вторгся и не думает уходить, тот опередит отца, запрет дверь и спрячет ключ. Отцу отрезан путь к отступлению, а маму этот тип по-прежнему не желает замечать. Самое ужасное – его манера не обращать внимания на маму, как будто она заодно с ним, убийцей и негодяем.

Поскольку даже этот кромешный кошмар сгинул, не дав мне своей разгадки, я всегда понимал людей, которые чуть что бросаются искать спасения к ближайшему пожарному столбику с сигнальным звонком – они стоят на улицах, подобно алтарям, пред которыми возносят мольбы богине бедствий. Однако куда более волнующим, чем даже появление пожарной команды, представлялся мне тот миг, когда я, единственный прохожий, слышу еще отдаленный сигнал пожарной тревоги. Увы, в эти минуты самая интересная часть бедствия всегда была уже в прошлом. Даже если где-то горело, увидеть огонь не удавалось. Казалось, город ревниво прятал свои редкие пожары, лелеял их в

глубине дворов или чердаков и старался не допустить, чтобы кто-нибудь узрел великолепную пламенную птицу, которую он, город, взрастил для себя одного. Время от времени пожарные выходили на улицу; судя по их виду, они не стоили зрелища, которое, казалось бы, должно было глубоко их потрясти. Если затем приезжала еще одна команда с пожарными рукавами, лестницами, бочками, то после первых торопливых маневров она тоже впадала в беспечность: вновь прибывшие в касках и негнущихся робах походили скорей на хранителей незримого огня, чем на его врагов. Однако зачастую дело обходилось без приезда пополнения: все вдруг замечали, что даже полицейские куда-то подевались, а огонь потушен. И никто не соглашался с тем, что пожар возник из-за поджога.

Цвета

В нашем саду стояла заброшенная, обветшалая беседка. Я любил ее за разноцветные стекла. Забравшись внутрь и переходя от одного окна к другому я преображался так же, как сад за оконными стеклышками, а он то пламенел, то был запорошен пылью, то тускло тлел, то пышно расцветал. Это напоминало мне рисование тушью, когда любая изображенная вещь раскрывалась до сокровенных глубин, как только я размывал рисунок, посадив на него облачко воды. Напоминало это и мыльные пузыри. Я путешествовал в них по комнате, я играл с переливами цвета на их куполах, пока они не лопались. На небе, на каком-нибудь украшении, в книге – везде меня захватывали цвета. Дети – добыча цвета повсюду. В те времена продавали маленькие шоколадки, сложенные столбиком, а он был крест-накрест перевязан, и каждая плитка обернута цветной фольгой. Эта башенка, не рассыпавшаяся благодаря шершавой золотой веревочке, сверкала зеленым и золотым, синим и оранжевым, красным и серебряным; шоколадки в одинаковой фольге никогда не оказывались рядом. Из своей искрящейся крепостцы цвета меня однажды атаковали, и я даже сегодня ощущаю сладость, которой упивался мой взор. Цвета ублажили сладостью шоколада не мое нёбо, а прежде всего сердце. Ведь еще до того, как я капитулировал перед заманчивым лакомством, меня возвысило, одним ударом сокрушив низкое вожделение, чувство более благородное.

Ящик для шитья

В наше время уже не было веретен, каким уколола себе палец Спящая красавица, отчего и уснула на сто лет. Но так же, как королева, мать Белоснежки, сидела у окна, когда шел снег, наша мама садилась поближе к окну, чтобы заняться шитьем; три капельки крови не пролились только потому, что при шитье на пальце у мамы был наперсток. Зато верх у наперстка был розово-алый, да еще с красивыми точечками, будто оставшимися от уколов иглы. Заглянешь в наперсток, подняв к свету, а там что-то краснеется, горит в черной глубине, с которой были хорошо знакомы наши указательные пальцы. Мы ведь всегда старались завладеть крохотной короной, чтобы совершить тайную коронацию. Надев на палец наперсток, я понимал, что на самом деле означает слово, которым наша прислуга называла маму: они-то говорили «благодетельница», однако я долгое время пребывал в уверенности, что мама – «рукодетельница». И невозможно было придумать какой-то другой титул, который бы более внятно выражал всю великую полноту власти моей матери.

Как у всех правителей, ее резиденцию – столик для шитья – окружали владения, на которые простиралось ее могущество. Мне случалось испытать его на себе. И я тогда замирал, затаив дыхание, не смея пошевелиться. Минуту назад мама обнаружила какой-то непорядок в моей одежде; лишь устранив его, она соглашалась взять меня с собой в гости или за покупками. И вот, отвернув на моей руке рукав матроски, она подшивала оторвавшийся бело-синий обшлаг; или двумя-тремя быстрыми стежками прихватывала изящную складку на шелковом матросском галстучке. А я тем временем жевал резиновый шнурок своей матросской шапочки, совсем не вкусный. В такие минуты, когда с неумолимой строгостью надо мной простирали свою власть разные швейные принадлежности, во мне просыпались непокорство и возмущение. Прежде всего потому, что забота об одежде, которую я все равно уже надел, подвергала суровому испытанию мое терпение, – но главная причина была другая: вся эта морока уж очень не в лад была с представавшей мне картиной, составленной из многоцветных шелковых ниток, тонких иголок, больших и маленьких ножниц. Закрадывалось сомнение: верно ли, что этот ящик первоначально предназначался для швейных принадлежностей? Сомнение крепло, ибо мне не давали покоя, дразня постыдной приманкой, круглые мотки ниток. А манили меня отверстия, оставшиеся от шпенька, который, крутясь, и смотал нить в моток. Правда, с

обеих сторон мотка эти дырочки были заклеены бумажными кружками, черными, с золотыми тиснеными надписями – именем фирмы и номером ниток. Но слишком сильно было искушение надавить пальцем на кружок и слишком велико удовлетворение, когда кружок разрывался и я нащупывал дырку.

Кроме верхних покоев, где рядком лежали мотки, где поблескивали черные книжечки-игольницы и ножницы торчали из своих кожаных ножен, было в том ящике мрачное подземелье, жуткий хаос, в котором царил распустившийся клубок и кишмя кишели скрутившиеся друг с дружкой обрезки резиновой тесьмы, крючки и петли, шелковые лоскутки. Среди этих отбросов попадались и пуговицы, иной раз диковинного вида, каких не увидишь ни на одном платье. Похожая форма встретилась мне много позже – то были колеса повозки бога-громовержца Тора, каким в середине нашего века изобразил его некий безвестный магистр на страницах школьного учебника. Сколько же лет прошло, прежде чем блеклая картинка подтвердила мое подозрение, что мамин ящик был предназначен вовсе не для шитья!

Мать Белоснежки шьет, а за окном снегопад. Мир все глубже погружался в тишину, а в доме у нас все почтительнее относились к шитью, самому тихому из всех домашних занятий. С каждым днем смеркалось раньше, и с каждым днем мы чаще выпрашивали у мамы ножницы. Теперь и мы просиживали час-другой, не спуская глаз со своей иголки, тянувшей за собой толстую шерстяную нить. Никому о том не рассказывая, каждый украшал какую-нибудь вещицу: картонную тарелку, перочистку, футляр, – по бумажному шаблону с рисунком вышивал цветы. И когда бумага с сухим треском пропускала иголку, я иной раз, поддавшись искушению, забывал обо всем на свете и любовался хитросплетением нитей на изнанке, которое с каждым новым стежком по лицевой стороне, приближавшим меня к финалу, становилось все запутаннее.

Луна

Свет Луны струится вниз не для того, чтобы озарять арену нашей дневной жизни. Места, залитые этим обманчивым светом, находятся как будто на соседней или какой-то другой Земле. Не на той, за которой Луна следует как ее спутник, а на той, которая сама превращена в спутник Луны. Широкая земная грудь, одним вздохом которой было само время, более не вздымается; сотворенная Земля наконец вернулась домой и может укрыться под вдовьим покрывалом, которое сорвал с нее день. Все это я понял благодаря бледному лучу, пробравшемуся сквозь деревянные жалюзи. Мой сон был беспокоен; Луна разбила его своим приходом и уходом. Когда она вошла в комнату, я проснулся, и оказалось, что мне там нет места, потому что комната не пожелала дать приют кому-то, кроме Луны. Первое, что я увидел явственно, – два кремово-белых умывальных таза на столике. Днем мне бы не пришло в голову обратить на них внимание. Но при свете Луны синяя полоса, бежавшая по краю этих тазов, вызвала у меня досаду. Полоса притворялась, будто она тканая и вьется как оборка вдоль бортика. И впрямь оказалось, что края у тазов волнистые, вроде как рюши на платье. В каждом тазу стоял уемистый кувшин, оба одинаковые, фарфоровые, с цветочным рисунком. Когда я вылезал из кровати, они тихонько задребезжали, по мраморной доске столика дребезг перелетел к стаканчикам и чашкам. Как же я обрадовался, услыхав в ночной тишине этот живой звук, пусть всего лишь отклик на мое движение! Однако он был ненадежен, как враг, притворившийся другом, он только и смотрел, как бы перехитрить меня. И перехитрил, когда я наливал себе воды из графина. Бульканье воды, стук, с которым я ставил на место графин и стакан, – все было эхом других звуков. Ибо на другой Земле, к которой я воспарил, не было места – все места уже заполнило минувшее. Оставалось лишь смириться с этим. Когда же я подходил затем к кровати, то всегда боролся со страхом увидеть уже лежащего на ней самого себя.

Страх исчезал лишь в тот миг, когда я снова ощущал под собой матрас. Тогда я засыпал. Лунный свет неторопливо покидал комнату. И часто в ней уже царила темнота, когда я просыпался во второй и третий раз. Моей руке приходилось сперва набраться смелости, и тогда она, расхрабрившись, выбиралась из окопа сна, где укрывалась от сновидений. Потом мерцающий свет ночника возвращал покой и мне, и моей руке, и тут оказывалось, что весь мир исчез, оставив единственный, застрявший в мозгу вопрос:

зачем что-то существует в мире, зачем существует и самый мир? Я с изумлением открывал: ничто в этом мире не принуждает меня помыслить мир. Небытие мира мне представилось бы ни на йоту менее достоверным, чем бытие, которое вроде как подмигивает небытию. Пока светила Луна, моря и континенты обладали лишь немногими преимуществами по сравнению с тазами и кувшинами моего умывальника. А от моего собственного бытия в этом мире не оставалось ничего, кроме осадка одиночества.

Два духовых оркестра

Никогда позднее не слыхал я музыки, столь лишенной чего бы то ни было человеческого, столь бесстыдной, как музыка военного оркестра, задававшая темп и ритм людскому потоку, который, протискиваясь между кофейными домиками, двигался по «аллее сплетен» в Зоологическом саду. Сегодня я понимаю, что придавало ему столь мощную силу. Не было у берлинцев иной, более высокой школы любви, кроме этой аллеи, проходившей мимо песчаных площадок с зебрами и антилопами гну, мимо вольеров с обрубками деревьев и со скалами, на которых гнездились стервятники и кондоры, мимо зловонных клеток с волками и водоемов, где выводили птенцов пеликаны и цапли. Крики и рев зверей вторгались в гром литавр и барабанов. Таким был воздух над аллеей, где взгляд мальчишки впервые пытался нахально увязаться за какой-то шедшей мимо женщиной, тогда как сам он с жаром рассказывал что-то приятелю. И до того усердно было его старание не выдать себя ни голосом, ни взглядом, что сам он толком и не разглядел ту прохожую.

До этого дня он знал совсем другую духовую музыку. Эти два сорта музыки отличались разительно: здешняя зазывно вихлялась в духоте торговых палаток и лиственных крон, другая, из более давних времен, сверкала и ревела и застывала в холодном воздухе, словно под тонким стеклянным колпаком. Заманчиво доносившаяся с Острова Руссо, она вдохновляла катавшихся на коньках по озеру Нойзее выписывать восьмерки и пируэты. Я присоединился к этим конькобежцам еще тогда, когда ни сном ни духом не ведал, откуда у острова такое название, тем паче о хитростях его французского написания. Другие катки не шли в сравнение с этим – так удобно он был расположен, а еще того больше потому, что его жизнь была разной в разное время года. Ведь во что превращало лето другие катки? В теннисные корты. А здесь под далеко протянувшимися ветвями деревьев летом плескалось то самое озеро, которое в темной столовой у бабушки смотрело на меня из рамы. В те времена художники любили писать лабиринты его берегов. Зимой мы под звуки венского вальса скользили на коньках под мостами, на которых летом часто стояли, опершись на перила и глядя, как лодки лениво раздвигают темную воду. Неподалеку были извилистые дорожки и, главное, недоступные убежища – скамейки «только для взрослых». Они окружали площадки с детскими песочницами, где малыши копались в песке или пребывали в глубокой задумчивости, пока кто-нибудь не толкнет или не окликнет со

скамьи гувернантка: поставив перед собой коляску, она сидела, уткнувшись в книжку, и, почти не поднимая глаз на своего подопечного, все же присматривала за ним.

Вот и все об этих берегах. В моей памяти озеро живет еще и в громыхании неуклюжих коньков, стучавших по дощатому настилу, непривычному после катанья по льду, и приносивших нас в павильончик, где топилась железная печь. Возле печи стояла скамейка, опустившись на нее и еще разок, напоследок оценив всю увесистость коньков, мы решались отстегнуть их. Когда, положив ногу на ногу, мы сбрасывали коньки, на пятках словно вырастали крылышки, и, скользя по обледенелому полу, мы выбирались на улицу. Музыка острова еще немного провожала меня домой.

Горбатый человечек

Когда я был маленьким, на прогулке я любил смотреть вниз сквозь решетки, положенные плашмя на тротуаре и позволявшие приблизиться к тем магазинным витринам, вдоль которых тянулась глубокая щель вроде рва. Она была нужна, чтобы в подвальные люки там, внизу, проникало хоть немного света и воздуха. Люки выходили не на улицу, а скорей под землю. Этим объяснялось мое всегдашнее любопытство, когда я, стоя на такой вот решетке, вглядывался в глубину у себя под ногами, надеясь разглядеть в подвальном оконце канарейку, лампу или какого-нибудь обитателя. Днем надежды мои оставались тщетными, однако ночь иногда смешивала карты дня, и мне снилось, что из подземных нор летят в меня взгляды и пригвождают к месту. Их метали гномы в остроконечных колпачках. Напугают меня до дрожи в поджилках – а самих и след простыл. Поэтому я мигом смекнул, о чем речь, когда в «Немецкой книге для детей» наткнулся на такой вот стишок: «Вот в подвальчик я иду. Я винца бы нацедил! Да горбатый человечек – дзынь! – стаканчик мой разбил».

О, я знал этот народец – только и смотрят, как бы нашкодить да подстроить каверзу, и, конечно, в подвалах им раздолье. Это был «нищий сброд». Ночные проходимцы, те самые, что подкарауливают Курочку с Петушком на Ореховой горе; Иголка и Булавка, которые кричат, что вот-вот настанет ночь, темная хоть выколи глаз, тоже были из этой породы. Они уж, наверное, много чего могли бы порассказать о горбатом человечке. Мне-то самому не довелось познакомиться с ним поближе. И только сегодня я сообразил, как его звали. Его же не раз поминала мама! «Раззява кланяться велел», – говорила она, если что-нибудь падало на пол или я разбивал какую-то вещь. И теперь я понимаю, о ком она говорила – о горбатом человечке, поглядевшем на меня. Если он на тебя поглядит, делаешься невнимательным. К себе самому и к горбатому человечку. И стоишь в растерянности над обломками и осколками. «Вот я в кухоньку иду. Я бульончик бы сварил! Да горбатый человечек – бац! – кастрюльку уронил».

Если появлялся этот горбун, надо было смотреть в оба. Но даже от двойного присмотра вещи ускользали. Так все и шло до тех самых пор, пока через несколько лет сад не стал для меня садиком, комната – комнаткой, скамейка – скамеечкой. Вещи сделались маленькими, и у них как будто вырос горбик, а значит, ими завладел горбатый человечек. Везде и всюду он меня опережал. Со всей предупредительностью вставал на моей дороге.

Но в остальном он, серый правитель, никакого зла мне не причинял, разве что с каждой вещи, попадавшей в мои руки, взимал половинную долю – дань забвению. «Вот я в комнатку иду. Я бы пудинга поел! Да горбатый человечек – хвать! – и весь мой пудинг съел».

Горбатый человечек частенько вот так выныривал, откуда ни возьмись. Но я ни разу его не видел. Зато он видел меня. Видел в потаенных уголках, где я прятался, и возле клетки с выдрой, и зимним утром видел, и у телефона в кухонном коридоре, и на Пивоваренной горе, где я ловил бабочек, и на катке с духовым оркестром. Он давно ушел на покой. Однако его голос, в точности такой же, как шипенье газового рожка, даже за порогом нового столетия нашептывает мне: «Слышишь, детка? Я прошу: помолись и обо мне, о несчастном горбуне!»

Приложение: фрагменты ранних редакций

Общество

У мамы была брошь овальной формы. И очень большая – носить ее на груди было невозможно, поэтому мама всегда прикрепляла это украшение к поясу. И вообще она его надевала, только если шла куда-нибудь в общество или когда гости приходили к нам. В центре украшения сверкал великолепный желтый камень, а вокруг, по краям, блестели камешки помельче, сиявшие разными цветами – зеленым, голубым и желтым, розовым и пурпурным. От этой броши я всякий раз приходил в восторг: в мириадах крохотных огоньков, вспыхивавших вокруг большого желтого камня, внятно звучала танцевальная музыка. В ту важную минуту, когда мама доставала украшение из шкатулки, являлось его двойное могущество. Ибо эта брошь воплощала в моих глазах общество, которому на самом деле сидеть бы скромненько на мамином поясе, но в то же время она была талисманом, оберегавшим маму от всего, что могло угрожать ей вне дома. Этот талисман и меня хранил от опасностей.

Он не мог, однако, помешать тому, что даже в те редкие вечера, когда можно было его увидеть, меня отправляли спать. И вдвойне досадно мне становилось, если общество собиралось у нас. Впрочем, оно словно бы заходило и в мою комнату, так как я постоянно получал от него вести, с той самой минуты, когда в прихожей раздавался первый звонок. Некоторое время звонок атаковал коридор почти непрестанно. И был пугающим, потому что ударял резче и решительней, чем в обычные дни. Провести меня не удавалось: он трезвонил явно с претензией на что-то более значительное, чем в обычные дни. А подтверждалось это тем, что дверь отворяли быстро и бесшумно. Затем на какое-то время общество, только-только собравшееся, как будто удалялось в мир иной. На самом деле оно лишь ретировалось в отдаленные комнаты, где утопало в блуждающих шагах и зыбучих разговорах, словно чудовище, которое, вынырнув из пены морского прибоя, поспешно скрывается в толще прибрежного ила. Я чувствовал, что в тех комнатах воцарилось нечто ускользающее, гладкое, в любую минуту готовое удавить тех, вокруг кого увивалось. Сверкающая фрачная рубашка, которую ради особенного вечера надевал отец, казалась мне панцирем, и вспоминалось теперь, что его глаза, когда он до прихода гостей окинул взглядом пустые стулья, блистали воинственно.

Между тем ко мне уже вторгся шум прибоя: то, незримое, окрепло и принялось самого себя, все свои члены покорять

красноречием. Оно прислушивалось к своему собственному глухому ворчанию, как слушаем мы далекий гул, прижав к уху раковину, оно шелестело, словно ветер в листве, и само с собой совещалось, оно трещало, как дрова в очаге, и, затаившись, умолкало. Наставал миг, когда я жалел, что какой-нибудь час назад открыл путь этому незримому. А сделал я это очень легко и просто – раздвинув обеденный стол, из нутра которого вылезла сложенная пополам доска; ее, раскрыв, вставили между половинками стола, чтобы все гости могли разместиться. Начав накрывать на стол, мне опять же разрешали помочь. И тут важно было не только то, что иные столовые приборы – вилки для омаров и ножи для устриц – оказывали честь моим рукам, проходя через них, но и хорошо знакомые, повседневные являлись в праздничном блеске. «Римские» бокалы зеленого стекла, приземистые граненые рюмки для портвейна, фужеры для шампанского, исчерченные тончайшей сеточкой, серебряные солонки в форме бочоночков, увесистые металлические бутылочные пробки в виде гномов или зверей. Наконец мне разрешали положить на один из бокалов перед каждым прибором карточку с фамилией гостя, служившую знаком, что это место ждет именно его. Карточки венчали дело; напоследок я, любуясь, совершал обход вокруг праздничного стола, к которому еще не придвинули стулья, и лишь в эти минуты меня до глубины души умилял маленький символ мира, улыбавшийся мне со всех тарелок и тарелочек. Васильки, изящный узор из васильков, разбросанных по безупречно белому фарфору. Символ мира, всю прелесть которого могли оценить лишь глаза, привыкшие в обычные дни видеть на этом столе символ воинской доблести.

Я имею в виду голубой мейсенский узор. Как часто я умолял его о подмоге во время усобиц, разгоравшихся за столом, который нынче сияет мягким блеском. Снова и снова, до бесконечности, мой взгляд пробегал по этим веточкам, листочкам, завиткам в упоении, какого потом уже никогда не испытывал, даже любуясь деталями прекраснейших картин. Никто никогда не домогался дружеских чувств более беззаветно, чем я, моливший о дружбе мейсенский узор. Ах, как мне хотелось заручиться его поддержкой в неравной борьбе, из-за которой кусок застревал у меня в горле! Но это никогда не удавалось. Ибо он был продажен, как генерал из Китая, да Китай-то ведь и был его колыбелью. Почести, которыми его осыпала мама, смотры, устраивавшиеся ею при полном сборе личного состава, и доносившиеся из кухни скорбные причитания, коими оплакивалась гибель всякого солдатика, – все это не оставляло надежды моим домогательствам. Холодный чешуйчатый рисунок ни разу не

дрогнул под моими взорами, да он не отрядил бы мне на подмогу даже крохотный листочек, чтобы меня прикрыть.

Глядя на праздничное убранство стола, я не боялся встретить злополучный мейсенский узор, и уже от этого можно было прийти в восторг. Однако чем меньше времени оставалось до вечера, тем бледней становилось все благостное, сияющее, что он сулил еще в полдень. А когда мама лишь на минутку заглядывала в мою комнату, чтобы пожелать доброй ночи, – хотя не уходила из дому, – я особенно сильно чувствовал, какой чудесный подарок в другие, обычные дни она вечером оставляла мне, положив на одеяло, – уверенность, что мамин день на несколько часов длиннее. Эти часы я, засыпая, прижимал к себе, как когда-то – плюшевую игрушку. Эти часы, потихоньку, незаметно для мамы, падали в складки одеяла, которое она поправляла на мне, и были моим утешением даже в те вечера, когда она уходила из дому: они вплетались в черное кружево маминой накидки, уже надетой ею и легко касавшейся меня на прощанье. Я любил эту близость и слабый ее аромат; каждый миг, что был прожит мной под сенью кружевной накидки и вблизи желтого камня, радовал меня больше, чем хлопушки, которые, как обещала, целуя меня, мама, я получу завтра утром. Отец звал ее из коридора, она уходила, а меня переполняла лишь гордость тем, какой блистательной я отпускаю ее в общество. И, лежа в кровати, почти заснув, я, сам того не зная, чувствовал истинность коротенькой загадки: «Чем позднее вечер, тем чудесней гости».

Шкафы

Первым моим шкафом, открывавшимся всегда, когда ни пожелаешь, был комод. Только и надо было потянуть за округлую ручку – и дверца, щелкнув замком, распахивалась. Среди рубашек, передников, сорочек, должно быть, хранившихся за этой дверцей, – уже не помню их, – я обнаружил кое-что, не позабытое мной и поныне: оно-то всякий раз и влекло меня к этому шкафу, обещая приключение. Поначалу приходилось прокладывать путь в самый дальний уголок, и там я нашаривал свои чулки, сложенные горкой; они были свернуты особым образом, как было принято в старину. Каждая свернутая пара напоминала, пожалуй, кошелек. Я не знал большего удовольствия, чем то, какое испытывал, просунув пальцы в самую глубину свернутой пары. Я искал там не тепла. Запустив руку в такой кошель, я захватывал «начинку» – именно за ней я лез в укромную глубину. Сжав ее в кулаке и удостоверившись, что и впрямь завладел мягкой шерстяной массой, я переходил ко второй части игры, состоявшей в потрясающем открытии. Я понемногу вытаскивал «начинку» из шерстяного кошелька, пока не случалось ошеломляющее событие: «начинка» – вот она, передо мной, а кошелька, в котором она находилась, больше нет! Сколько раз ни повторял я этот опыт, все было мало. Он показывал мне, что форма и содержание, покров и сокрытое, «начинка» и кошель составляют единство. Единство – и вдобавок нечто третье, а именно чулок, в который они превратились. Размышляя о том, с какой ненасытностью я заклинал это чудо, я склонен предполагать, что трюк мой был младшим братом сказок, они ведь сначала так же зазывали в мир призраков и волшебства, а в конце так же безоговорочно водворяли в мир заурядной действительности, которая облекала меня ласково, как чулок. С тех пор прошли годы. Моя вера в магию пошатнулась; чтобы ее укрепить, нужны были сильные переживания. Я принялся искать таковые во всем странном, ужасном, заклятом, а испытать все это задумал опять же у шкафа. Однако на сей раз игра пошла более рискованная. От моей невинности ничего не осталось, а причиной тому стал запрет. Мне запретили читать рассказы, в которых я чаял найти полновесную замену утраченному миру сказок. Конечно, названия некоторых повестей были непонятны: «Фермата», «Майорат», «Хайматохара». Но за них, чей смысл был темен, ручалось заглавие книги – «Гофман – духовидец» и строгий запрет даже заглядывать в нее. Все-таки мне удалось до них добраться. В первой половине дня иногда случалось так, что я уже

вернулся из школы, а родители еще не пришли домой, мама – из городских лавок, отец – из конторы. При такой оказии я, не теряя ни минуты, спешил к книжному шкафу. Странный это был шкаф: глядя на него, не догадаешься, что в нем обитают книги. В дубовых дверцах вставки из стекла – десяток круглых толстых стеклышек, каждое в свинцовом ободке, отделяющем его от соседей. Стеклышки красные, желтые, зеленые, и все совершенно непрозрачные. Со стеклом на этих дверцах скверно обошлись, и оно, словно в отместку судьбе, устроившей такое злодейство, бросало вокруг пренеприятные отблески, как бы не подпуская к себе. Но если бы в те времена на меня пахнуло недобрым воздухом, сгустившимся возле этого шкафа, мне бы только пуще захотелось совершить свой налет, для которого я, как сказано, намечал пустой, светлый и опасный предполуденный час. Рывком распахнув дверцы шкафа, я нащупывал том, который стоял не в ряду книг, а в темной глубине за ним, и лихорадочно листал страницы, отыскивая ту, где остановился в прошлый раз; не отходя от шкафа, перед раскрытой дверцей, я во весь опор мчался по строчкам, желая получше использовать время до возвращения родителей. В прочитанном я ничего не понимал. Однако ужас, в который повергали меня все призрачные голоса, все полночные часы и заклятия, возрастал и усиливался до крайности из-за страхов, терзавших мой слух: я ждал, что вот-вот лязгнут ключи во входной двери, потом глухо стукнет трость отца, сунутая в подставку…

Знаком особого положения, которое занимали в нашей семье духовные блага, было то, что лишь этот шкаф, единственный из всех, не запирали на ключ. Проникнуть в другие шкафы можно было, только заручившись содействием связки ключей в особом футляре, бывшей в те годы неизменной спутницей – и ежедневной потерей – каждой домашней хозяйки. Бренчанье десятка ключей, среди которых отыскивали нужный, предваряло любую домашнюю работу: то был голос хаоса, поднимавшего мятеж, прежде чем меж двух раскрытых створок, словно в алтаре, нам открывалась благостная картина, являющая священный порядок. Он и от меня требовал почтения, а иной раз – жертв. Так, после Рождества или дня рождения приходилось решать, что из подарков пожертвовать «новому шкафу», ключ от которого мама хранила у себя. Все, что под замком, дольше остается новым. Но мне-то хотелось не оберегать новое, а обновлять старое. Это удавалось благодаря тому, что я, новичок, делал старое своим собственным, то есть благодаря коллекционированию всякой всячины, накапливавшейся в ящике моего стола. Всякий камень, какой я находил, всякий сорванный цветок и пойманный мотылек

становились первыми экземплярами моих коллекций, и вообще все, чем я владел, в моих глазах представляло собой одну большую коллекцию. «Уборка» привела бы к уничтожению полных закромов; чего там только не было: колючие каштаны – бердыши, кусочки фольги – серебряный клад, деревянные брусочки – гробы, кактусы – священные деревья дикарей, наконец, медные пфенниги – воинские щиты. Вот так, маскируясь, росло достояние детства, заполняя ящики, коробки, ларчики. А заветная комната старинного крестьянского дома, что некогда вошла в сказку, дальняя обитель, в которую Дева Мария запретила входить своей подопечной, в городской квартире умалилась до шкафа. Самым угрюмым шкафом в домах того времени был буфет. По-настоящему почувствовать, чем была столовая и ее сумрачная мистерия, способен только тот, кто постиг, отчего дверь столовой выглядела маленькой по сравнению с буфетом – широким, громоздким, достигающим потолка своими вершинами. Казалось, его права на занимаемое место ныне столь же непоколебимы, как в седой древности, когда он был свидетелем родового союза, соединившего недвижимость и мебель. Горничная, метелкой сметавшая все и вся на своем пути, на буфет не покушалась. Она отваживалась лишь доставить вниз и нагромоздить в соседней комнате супницы и серебряные ведерки, блюда из майолики и дельфтские вазы, бронзовые чарки и стеклянные кубки, стоявшие в нишах буфета, под балдахинчиками в виде раковин, на террасах и выступах, между порталами и деревянными панелями. Эта утварь восседала, как на троне, в вышине, на отвесных уступах, чуждая какому-либо практическому применению. И потому неудивительно, если буфет походил на увенчанную храмами горную вершину. Да и сокровищами мог похвалиться: как все идолы, сокровища он любил. А чтобы выставить их напоказ, не было дней более подходящих, чем те, когда мы принимали гостей. Уже в полдень буфетные недра раскрывались, и моему взору представало подземелье, бархатное, словно заросшее серовато-зеленым мхом, а в нем – серебряный клад нашего дома. Сокровищ всяческого рода, что там лежали, было не по одному, а по два или три десятка. И когда я смотрел на длинные ряды кофейных ложечек или подставок для ножей, шеренги вилок для устриц или фруктовых ножичков, удовольствие от созерцания этого богатства боролось во мне со страхом: а не будут ли те, кого мы ждем, неразличимо похожи друг на друга, как наши столовые приборы?

Нищие и проститутки

В детстве я был пленником старого и нового берлинского запада. Члены нашего клана, проживавшие там, в своих отношениях с окружающими отличались злым упорством, смешанным с чувством собственного достоинства, благодаря чему и превратили оба квартала в гетто, которое клан считал своим ленным поместьем. В этом районе богачей я сидел как за решеткой и ничего другого не знал. Бедняки… В глазах богатых детей моего возраста это были только нищие. Но однажды мои познания изрядно расширились: понятие бедности смутно забрезжило мне в представлении об унизительности низкооплачиваемого труда. Забрезжило в маленьком рассказе, наверное, первом и написанном только для себя. Речь там шла о человеке, который раздает прохожим рекламные листки, и об унижениях, которым он подвергается, так как публика не проявляет к листкам ни малейшего интереса. В конце концов бедняк тайком избавляется от целой кипы листков; так я завершил рассказ. Отнюдь не плодотворное разрешение ситуации, конечно. Но я тогда еще не освоил каких-то форм протеста, кроме саботажа; зато в данном случае я мог опереться на собственный опыт. Я прибегал к саботажу, чтобы улизнуть от мамы. Самое милое дело – во время «покупок», причем я саботировал их с упрямым своеволием, нередко приводившим маму в отчаяние. Я завел себе привычку на улице всегда на шаг отставать от нее. Как будто я ни за какие коврижки не согласен идти с кем-то единым фронтом, хотя бы и с мамой. Сколь много принесло мне это мечтательное сопротивление во время наших хождений по Берлину, выяснилось позднее, когда меня повлек в лабиринт города инстинкт пола. Однако первые его неуверенные прикосновения искали не тело, а душу, заброшенную, с крыльями, осклизло поблескивавшими в свете газового фонаря или еще не расправленными и спящими под шубкой, облекающей ее, подобно кокону. Тогда-то и пригодилось мне свойство как бы не замечать доброй трети всего того, что взгляд охватывал в действительности. Но еще в те времена, когда мама бранила меня за то, что я, увалень, сонно плетусь позади, я смутно догадывался о возможности ускользнуть однажды от ее власти, заключив союз с улицами, на которых якобы не ориентировался. Несомненно, чувство – увы, ложное, – что я отрекся от матери и от ее, да и моего собственного, социального класса, повинно в том, что меня с невообразимой силой тянуло заговорить с какой-нибудь уличной девкой. Часто проходили часы, прежде чем это

случалось. При этом я испытывал ужас, какой охватил бы меня при виде автомата, который легко привести в действие, всего лишь задав вопрос. И вот я опускал в щель свой голос. Кровь шумела в ушах, я был не в состоянии подобрать слова, которые ярко накрашенные губы роняли на землю передо мной. Я убегал, но той же ночью – да как часто это бывало! – повторял свою отчаянную попытку. Потом, иногда уже под утро, остановившись у какой-нибудь подворотни, я осознавал, что безнадежно запутался в асфальтовых лентах улиц, и освобождали меня от этих пут далеко не чистые руки.

Отъезд и возвращение

Полоса света под дверью спальни накануне вечером, когда взрослые еще не спали, – не она ли была первым сигналом к отъезду? Не вторгалась ли она в полную ожидания ночь детей так же, как в более поздние времена полоса света под опущенным занавесом прорезала ночь зрительного зала? Мне помнится: корабль сновидений, уносивший нас вечером накануне отъезда, приплывал к нашим кроватям, качаясь на шумящих волнах разговоров, под шорох прибоя стучащих тарелок, а ранним утром он с лихорадочной поспешностью покидал нас, как будто путешествие, в которое мы только собирались отправиться, уже закончилось. В громыхающих дрожках мы ехали по набережным Ландверского канала, и на сердце вдруг становилось тяжело. Конечно, не из-за того, что ждало впереди, и не из-за прощания; печаль закрадывалась в сердце из-за нудного сидения со всеми вместе, которое все продолжалось, все тянулось, а не улетело, как призрак на утренней заре при первом дуновении ветра путешествия. Печаль была недолгой. Как только экипаж проехал Шоссештрассе, мои мысли унеслись вперед, к путешествию по железной дороге. С той поры на Инвалиденштрассе, там, где взорам других людей является светлая каменная громада Штеттинского вокзала, передо мной поднимаются дюны Козерова или Веннингштедта. Однако чаще наша цель ранним утром была более близкой. Анхальтский вокзал [14] по самому своему названию – материнское лоно железной дороги, родной дом паровозов и привал поездов. Не было более дальней дали, чем та, туманная, где сходились рельсовые пути Анхальтского вокзала. Отступало куда-то вдаль и все близкое, еще недавно согревавшее меня. В воспоминании квартира виделась преобразившейся. Свернутые ковры, закутанные в мешковину люстры, кресла в чехлах, мутный свет, еле сочащийся сквозь жалюзи, – мы садились в поезд дальнего следования, а тем временем квартиру наполняло ожидание чужих шагов, неслышно ступающих ног, которые скоро, наверное, заскользят по паркету, оставляя воровские следы в пыли, неторопливо оседающей там и сям в новых владениях. Поэтому-то после каникул я возвращался всегда как изгнанник. И даже последняя подвальная нора, в которой горела кем-то зажженная лампа, казалась мне завидной в сравнении с нашей квартирой в западном районе, полной мрака. Так что, когда я возвращался из Банзина или из Ханенклее, в городских дворах меня ждало много тесных, печальных приютов. Потом, правда, город их прятал, словно раздосадованный их

сострадательностью. Если же поезд иногда задерживался перед ними, то лишь потому, что путь нам закрывал семафор на въезде в город. Чем медленней полз поезд, тем быстрей улетучивалась надежда избежать возвращения в уже близкую родительскую квартиру, скрывшись за глухими стенами задних дворов. Однако эти добавочные минуты, перед тем как все начнут сходить с поезда, они и сегодня у меня в глазах. Чей-то взгляд, наверное, скользнул по ним, как в тех дворах. Окна в обшарпанной стене, окна, за которыми горит лампа.

Касса букв

Нам никогда не удается полностью вспомнить что-то забытое. И, наверное, это хорошо. Потрясение от возврата чего-то утраченного оказалось бы столь сокрушительным, что в тот же миг мы перестали бы понимать свою недавнюю тоску по утрате. А так мы понимаем ее и понимаем тем лучше, чем более глубоко в нас самих таится забытое. Бывает, забытое слово вертится на языке, и мнится, именно оно может язык развязать, наделить демосфеновским красноречием – вот так и что-то забытое, кажется, носит в себе всю твою прежнюю жизнь, обещает вернуть ее. Возможно, эта готовность забытого разродиться происходит лишь оттого, что в нем живут давно утраченные привычки, обычаи, к которым уже нет возврата. Возможно, тайна, благодаря которой забытое не покидает нас, заключается в том, что оно содержит мельчайшие осколки наших рассыпавшихся панцирей. Как бы то ни было, у каждого человека есть вещи, которые сформировали у него более живучие привычки, чем все прочие. В обращении с такими вещами сложились навыки, во многом определившие жизнь человека. А так как в моем случае эти навыки – чтение и письмо, то среди всех вещей, канувших в прошлое, ничто не вызывает у меня столь сильной тоски, как детская наборная касса. В ней были маленькие квадратики, и на каждом – буква, написанная готическим шрифтом, отчего по сравнению с печатными буквами они казались более юными, девически нежными. Они грациозно укладывались на наклонном ложе, каждая – само совершенство, а все вместе они строго блюли свой строй, в согласии с правилами ордена, объединявшего их как сестер, – слова. Меня восхищало, что с этой дивной красотой сочеталась у них большая непритязательность. Им была дарована милость. А моя правая, покорнейше просившая милости рука протягивалась впустую и довольствовалась положением привратницы, которая должна открывать дорогу лишь избранным. Так что служение буквам требовало великого самоограничения. А тоска по этому служению свидетельствует, что оно было неотъемлемо от моего детства. И что в действительности я ищу в воспоминании детство: все детство, жившее в руке, в жесте, каким я вставлял букву за буквой в прорезь, где они должны были выстраиваться в слова. Этот жест иной раз может пригрезиться моей руке, но она никогда уже не пробудится, чтобы совершить его наяву. Точно так же я могу увидеть во сне, как когда-то учился ходить. Да только ничего это не даст. Я умею ходить, а вот учиться ходить – это мне уже не

дано.

«Новый друг немецкого юношества»

Получив его, еще не решаясь заглянуть внутрь, я испытывал блаженство, какое охватывает прибывшего в замок гостя, не смеющего окинуть восхищенным взором длинные анфилады и покои, мимо которых он идет в отведенную ему комнату. Он с нетерпением ждет минуты, когда сможет уединиться. Вот так и я, обнаружив на столе с рождественскими подарками последний том «Нового друга немецкого юношества», сразу укрывался за бруствером украшенной гербом обложки, а затем потихоньку пробирался в оружейные или охотничьи палаты, чтобы первую ночь провести в них. Не было ничего прекраснее при этом первом беглом знакомстве с лабиринтом чтения, чем прослеживать подземные ходы, – длинные истории, тянувшиеся через всю постройку, часто обрывавшиеся, но всегда, в виде «продолжений», снова выходившие на свет. Не беда, если иной раз, восторженно листая страницы и находя изображение какой-нибудь битвы, ты вдруг ощущал в пороховом дыму сладкий запах марципана. Впрочем, некоторое время просидев над книгой и вернувшись затем к столу с подарками, ты замечал, что он уже не главенствовал в «рождественской» комнате, как в те минуты, когда ты впервые переступал ее порог, – теперь ты, казалось, спускался с небольшого возвышения, возвращаясь из призрачного замка на землю.

Всё делали на перемене: собрав книги, сразу выдавали их другим желающим прочесть. Тут я иногда был недостаточно проворен. И часто мне приходилось видеть, что желанные томики попадали к тем, кто не мог оценить их по достоинству. Мир этих книг совсем не походил на мир хрестоматий, где мне приходилось сидеть за какими-нибудь рассказами по несколько дней и даже недель, точно в казармах, у которых над входом, еще до заглавия, стоял порядковый номер. Еще хуже были казематы отечественной поэзии: что ни стих – то застенок. А вот от книжек, которые нам раздавали на перемене, веяло нежным южным воздухом, мягким воздухом зачитанных до дыр романчиков. Этот воздух помнил, как собор Святого Стефана дразнил турок, осаждавших Вену, помнил и синий дымок, струившийся из трубок Табачной коллегии {6} , и снежинки, порхавшие над берегом Березины, и бледное зарево, возвестившее последние дни Помпеи. Правда, поднимаясь от опусов Оскара Хёккера и В.О. фон Хорна, Юлиуса Вольфа и Георга Эберса, он становился затхловатым душком. А уж какой тухлятиной несло от томов «Из отечественного прошлого»! В шкафу нашего шестого класса скопились целые горы этого добра, поэтому мало было шансов обойти их стороной и захватить книжку Веррисгофер [15] или Дана [16] . На красном коленкоровом переплете этих книжек был вытиснен воин с алебардой. В тексте же встречались изящные пучочки прутьев, а еще – честные подмастерья, белокурые дочки замковых кастелянов или оружейников, вассалы, хранившие клятву верности сеньору; но жили на их страницах и вероломный стольник, строивший козни, и бродячие вояки, за деньги служившие чужому королю. Чем туманней было у нас, сыновей коммерсантов и отпрысков тайных советников, представление обо всех этих слугах и господах, тем уверенней их мир, мир прочных доспехов и высоких идеалов, входил в наши дома. Герб, венчающий врата рыцарского замка, я обнаруживал на спинке кожаного кресла, которое, подобно трону, возвышалось за письменным столом моего отца. Чарки, ходившие по кругу на пиру Тилли [17] , красовались на консолях наших кафельных печей или в застекленной горке в прихожей. Табуреты, какие в солдатском кабаке дерзко выставлялись поперек дороги, на наших обюссонах {7} стояли точно так же – разве только не сидел верхом на нашем табурете драгун Притвица [18] . А однажды этот мир даже чересчур слился с реальным. Произошло это из-за дешевого романчика с заглавием, никоим образом не

отражающим содержания. В моей памяти застрял лишь отрывок, к которому относилась олеография: всякий раз я открывал эту страницу с неослабевающим ужасом. Картинка и страшила меня, и влекла; все было так же, как позднее с иллюстрацией к «Робинзону Крузо», на которой Пятница впервые замечает чужие следы и находит неподалеку черепа и кости. А все-таки насколько удушливей был ужас, который внушала та олеография: женщина в белом ночном одеянии, с широко открытыми глазами, но спящая, светя себе канделябром, бредет по какой-то галерее. Женщина страдала клептоманией. И само это слово, со страшным клацающим первым слогом, который как бы откусывал остальные, да еще «мания» в придачу: тут было что-то похожее на картину Хокусая [19] где мертвый лик двумя-тремя штрихами превращен в призрак, – от этого слова я каменел в ужасе. Книга – она называлась «Своею силой» [20] – давным-давно вернулась на свое место в шкафу нашего класса, а коридор, который от классной комнаты с окнами на улицу вел в помещения, смотревшие на задворки, оставался для меня галереей замка, где по ночам бродила женщина-призрак. Но какими бы ни были эти книжки – добродушными или пугающими, скучными или увлекательными, – их волшебная сила оставалась неизменной. Дело ведь было не только в содержании, но еще и в моей твердой уверенности: впереди у меня четверть часа, ради которых можно примириться с убожеством унылой школьной рутины. Эти четверть часа я предвкушал уже накануне вечером, засовывая книжку в собранный портфель, который от этого довеска, казалось, становился лишь легче. Там книжка вместе с моими тетрадями, учебниками, пеналами томилась во мраке, как бы предварявшем таинственное событие, назначенное на следующий день. Ибо тогда наставало наконец мгновение, которое в тех самых стенах, что были свидетелями моего унижения, наделяло меня невиданной властью, как Фауста, заключившего союз с Мефистофелем. Учитель, покинувший свое возвышение, чтобы собрать прочитанные книги и выдать нам другие из книжного шкафа, – кем был он, если не демоном, которому пришлось поступиться своей злой волей и, показывая все свое искусство, потакать моим прихотям? Его робкие попытки как-то повлиять на мой выбор одна за другой терпели фиаско. И он, незадачливый демон, побитый и посрамленный, все налегал на постромки, меж тем как меня волшебный ковер уже уносил к вигваму Последнего из могикан [21] или в военный лагерь Конрадина Гогенштауфена {8} .

Карусель

Дощатый помост с услужливыми зверями кружит над самой землей. Высота как раз та, на какой нам так славно летается в мечтах. Начинает играть музыка; рывок – и малыша уносит прочь от мамы. В первый миг ему страшно: как же без мамы? Но тут он замечает, что вполне может полагаться на собственные силы. И восседает, словно всесильный правитель мира, принадлежащего ему одному. Шеренгой выстроились по касательной деревья и туземцы. Вдруг где-то в восточном царстве вновь появляется мама. А потом из джунглей выбегает вперед крона дерева, которую малыш видел много тысяч лет тому назад – и видит впервые сейчас, с карусели. Надежный товарищ несет его на своей спине: это и немая рыбина, оседлав которую плывет вдаль наш немой Арион, это и Зевс – деревянный бычок, что похищает малыша, как лучшую из Европ. Давно уже всякий ребенок знает, что за штука «вечное возвращение всех вещей» {9} и жизнь давным-давно стала разгульным весельем господ, с имперской сокровищницей в самом центре круговерти – грохочущим оркестрионом. Вот игра его замедляется, и все вокруг начинает спотыкаться, даже деревья понемногу утихомириваются. Карусель перестает быть надежной опорой. И появляется мама – стократно вколоченный в землю столбик, за который малыш цепляется взглядом, словно причальным канатом.

Кладовка

Моя рука, точно влюбленный под покровом ночи, крадется в щель приоткрытой дверцы кухонного шкафа со съестными припасами. Освоившись в темноте, рука нашаривает куски сахара или миндаль, изюм или банки с вареньем. И если любовник заключает девушку в объятия, прежде чем поцеловать, то и на этом свидании к лакомствам перво-наперво прикасались пальцы, а уж затем сладости отведывал язык. Мед, мелкий темный изюм, даже рис – да они сами тянулись к моей руке! Сколько страсти в нашей встрече, наконец обходящейся без ложки! Благодарно и неистово, как красавица, которую ты тайком увел из родительского дома, клубничная пастила, одна, без всякого чая, сама по себе, словно под вольными небесами господними, отдавалась моим губам, и даже сметана отвечала нежностью на дерзость ухажера, проникшего в ее девичью светелку. Рука – Дон-Жуан моего отрочества, быстро проникая во все покои, во все келейки, оставляла на своем пути сочащуюся плоть и текучую мякоть – девственность, обновлявшуюся без жалоб и слез.

Обезьяний театр

Обезьяний театр – говорили старшие, увидев что-нибудь несуразное. Но когда я впервые услышал это выражение, ничего такого оно не означало. Я был еще маленький. Обезьяны на сцене – это, конечно, что-то небывалое, однако самым небывалым, затмившим даже обезьян, была сцена. Театр – при этом слове мое сердце затрепетало, как при звуке трубы. И встрепенулась фантазия. Но след, взятый ею, был не тем, что ведет за кулисы – по нему она повлечет этого мальчика несколько позже, – нет, она припустила по дороге счастливчиков и умниц, выпросивших у родителей разрешение ходить в театр в послеобеденные часы. Путь в театр проходил через брешь во времени, пробитую в той нише дня, которая называлась «после обеда» и пахла лампой и отправкой спать. Она была пробита не ради того, чтобы увидеть Вильгельма Телля или Спящую красавицу, по крайней мере – не только для этого. Была и более высокая цель: очутиться в театре, среди других людей. Я не представлял, что меня ждет, но был уверен, что разыгрывалась лишь некая часть, пролог гораздо более важного действа, в котором я участвовал вместе с другими зрителями. Каков его характер, я не знал. И, конечно, к обезьянам оно имело такое же отношение, как и к самой первоклассной актерской труппе. Да ведь и от обезьяны до человека было не дальше, чем от человека до актера.

Пробуждение пола

На одной из улиц, где я позднее бродил бесконечно долго, иногда ночи напролет, – однажды, когда пришла пора, я был застигнут врасплох пробуждением полового инстинкта, случившимся при необычных обстоятельствах. Было это в праздник еврейского Нового года. Родители решили, что надо мне побывать на каком-нибудь праздничном богослужении. Вероятно, они имели в виду общину реформированного иудаизма [22] , поскольку к ней питала некоторую симпатию мама, следуя традиции своих родителей. Мне было велено зайти к одному дальнему родственнику, чтобы вместе с ним отправиться на праздник. То ли я адрес забыл, то ли дороги не знал в том районе города – так или иначе времени почти не осталось, а я все плутал и не видел конца блужданиям. Пойти в синагогу одному я не решался, так как оба входных билета были у родственника. Главными причинами этой неприятности надо считать мою антипатию к покровителю, которого я почти не знал, но от которого в тот момент зависел, и недоверие к религиозным церемониям, ибо от них я не ждал ничего, кроме чувства неловкости. И тут на меня, вконец растерявшегося, жаркой волной накатил страх: «Поздно, в синагогу не попаду»; но не успела эта волна схлынуть, набежала новая – полнейшей бессовестности: «Будь что будет, мне-то какое дело?» Волны схлестнулись, да с такой необоримой силой, что породили во мне, впервые в жизни, чувство громадного удовольствия, в котором святотатство – я же пренебрег праздником – стакнулось с улицей-сводней, ибо в тот раз я впервые расслышал ее шепоток о готовности услужить моим пробудившимся влечениям.

Пульт

Врач обнаружил у меня близорукость. И прописал мне не только очки, а еще и пульт. Причем очень остроумной конструкции. Сиденье можно было передвигать дальше или ближе к крышке, а крышка была с наклоном, чтобы на ней писать; на спинке сиденья имелась горизонтальная планка, подпиравшая спину; а что говорить о передвижном маленьком пюпитре для книги, венчавшем все это сооружение! Пульт, стоявший у окна, скоро стал моим любимым уголком. В скрытом под сиденьем ящике лежали помимо книг, нужных для школьных занятий, мой альбом с марками и еще три альбома, заполненные коллекцией открыток с видами; на крепком крючке на боковой стенке пульта висели не только мой портфель и корзиночка для завтрака, а еще сабля от гусарской формы и коробка-ботанизирка. Часто, после школы придя домой, я первым делом, чтобы отпраздновать встречу с пультом, делал его местом какого-нибудь любимого занятия – скажем, брался за переводные картинки. Там, где обычно стояла чернильница, я водружал чашку с горячей водой, а затем начинал вырезать картинки. Чего только не покрывала мутная пленка, под которой они едва виднелись на больших листах или в тонких тетрадочках! Сапожник, согнувшийся над своей колодкой; дети, забравшиеся на дерево и срывающие яблоки; молочник у запорошенной снегом двери; тигр, который вот-вот бросится на охотника, а у того из ружья уже вылетает огонь; рыболов на зеленом берегу голубого ручейка; класс, почтительно слушающий учителя, который что-то объясняет у доски; галантерейщик в лавке, где полки ломятся от разноцветных товаров; маяк и на волнах перед ним парусник – все это подернуто туманной дымкой. Смоченные водой изображения тускло просвечивали под мокрой пленкой, а затем под моими пальцами, осторожно снимавшими, скатывавшими, стиравшими, ерзавшими туда-сюда. Наконец толстый верхний слой сходил, превращаясь в тоненькие длинные катышки. На треснувшей, истерзанной пленке проступали, сначала мелкими пятнышками, приятные, неискаженные цвета, и в этот миг мне казалось, что хмурый, по-утреннему блеклый мир внезапно озаряет яркое солнце сентября и все в этом мире, еще влажном от росы, освежившей его перед рассветом, яркими красками встречает новый день творенья. Когда эта игра мне приедалась, находился какой-нибудь другой предлог, чтобы еще немножко потянуть время до приготовления уроков. Я с удовольствием перелистывал свои старые тетради, представлявшие совершенно

особенную ценность: ведь я ухитрился уберечь их от посягательств учителя, который хотел их забрать себе. Я подолгу любовался оценками, которые он выставил красными чернилами, и тихо блаженствовал. Словно выбитые на надгробных камнях имена покойников, от которых тебе уже не будет ни горя, ни радости, стояли на полях пометки, давно передавшие свои полномочия оценкам, которые также стали достоянием прошлого.

Еще одним способом, позволявшим – с еще более чистой совестью – проволынить часок за пультом, было приведение в порядок тетрадей и учебников. Книжки непременно требовалось заново обернуть в плотную синюю бумагу, а что касается тетрадей, тут даже правила были на моей стороне: промокашку в тетради следует прикрепить, чтобы не потерялась. Для этого были специальные ленточки всех цветов радуги. Концы ленточки прикреплялись специальными бумажными кружочками на обложке тетради и на промокашке. Если взор жаждал отрады, подбирались самые разные – нежнейшие или, напротив, кричащие сочетания цветов. Так что в этом смысле мой пульт имел сходство со школьной партой. Но он был лучше, потому что служил мне надежным укрытием и позволял заниматься такими делами, о которых парте знать не полагается. Мы с пультом держались заодно – против парты. И после унылого школьного дня засев наконец-то за пульт, я замечал, что он вливает в меня свежие силы взамен растраченных. Не просто как дома я мог чувствовать себя, а в укрытии, вроде тех, что можно видеть на средневековых картинах, где какой-нибудь монах, преклонивший колени на особой скамейке или сидящий за столом в скриптории, кажется одетым в броню. В этом логове я начал читать «Приход и расход» [23] и «Повесть о двух городах» [24] . Я находил для чтения самый тихий час дня и пульт – самое укромное место в нашем доме. Устроившись, я открывал книгу на первой странице, и настроение у меня делалось приподнятое, как у путешественника, впервые ступившего на землю нового континента. Да это был и впрямь новый континент: Крым и Каир, Вавилон и Багдад, Ташкент и Аляска, Детройт и Дельфы на нем наползали друг на друга, в точности как золотые медали на сигарных коробках, которые я тоже собирал. И не было большей отрады для меня, чем сидеть вот так, отгородившись от всех орудий моей пытки: тетрадей для вокабул, циркулей, словарей, – и витать там, где не имели они надо мной никакой власти.

Теодор Адорно. Послесловие

Уроженец Берлина, Вальтер Беньямин жил в этом городе вплоть до эмиграции. Далекие путешествия, длительное пребывание в Париже, на Капри, на Балеарских островах не заставили его изменить Берлину. Едва ли еще кто-то столь же хорошо знал жилые кварталы этого города; названия улиц, площадей, набережных были Беньямину близки, как имена из Книги Бытия. Дитя старинной берлинской еврейской семьи, сын антиквара, он все, что еще не стало традиционным в новоявленной германской столице, воспринимал как укорененное в старине; новейшее было для него символом глубокой древности.

«Берлинское детство» написано в начале 1930-х годов. Эта проза входит в число произведений Беньямина о начальном периоде эпохи модерна, над историей которого он трудился последние пятнадцать лет своей жизни, и представляет собой попытку писателя противопоставить нечто личное массивам материалов, уже собранных им для очерка о парижских уличных пассажах. Исторические архетипы, которые Беньямин в этом очерке намеревался вывести из социально-прагматического и философского генезиса, неожиданно ярко выступили в «берлинской» книжке, проникнутой непосредственностью воспоминаний и скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни.

Ибо в картинах, которые подступают даже чересчур близко, нет ни идиллического, ни созерцательного настроения. Их омрачает тень гитлеровского рейха. Как в сновидении, давнее прошлое в этих картинах соединяется со страхом перед немецким настоящим. С паническим ужасом буржуазная духовность, при виде того как распадается аура ее биографического прошлого, осознает самое себя – осознает как мнимость. Вполне отвечает характеру «берлинской» книжки то, что при жизни Беньямина она как цельное произведение не увидела света: в полные лишений первые годы эмиграции писателю, нередко под псевдонимом, пришлось печатать многие отрывки в газетах, главным образом во «Франкфуртер цайтунг» и в «Фоссише цайтунг».

Беньямин не успел установить определенной последовательности фрагментов, в существующих рукописях она различна. Однако везде последним идет «Горбатый человечек». Если в этом персонаже собраны черты невозвратимого прошлого, то образ рассказчика скорей напоминает нам

Румпельштильцхена, чья жизнь продолжается лишь до тех пор, пока его имя остается неизвестным. Румпельштильцхен сам, проговорившись, называет свое имя. Воздух над берлинскими кварталами, которые в описании Беньямина, кажется, вот-вот оживут, насыщен смертью. В эти места всматривается приговоренный, и он видит, что они тоже приговорены. Развалины Берлина – реакция на нервные импульсы, возникшие в Берлине 1900-х годов.

Но смертоносный воздух – это воздух сказки, и хохочущий Румпельштильцхен – образ сказки, отнюдь не мифа. В своих изящных, пронизанных предчувствием катастрофы миниатюрах Беньямин остался хранителем сокровищ философии, властелином карликов. Взрыв отчаяния открывает нам умиротворяющий вид на страну фей, которой посвящено стихотворение, апокрифически приписываемое Гёльдерлину. Оно созвучно картинам Беньямина, которому эти стихи полюбились:

В сей жизни унылой
Цвет розана милый —
Дар смертным от фей,
Волшебниц движенья
И преображенья…
Не счесть их затей!
Пестрее эмали
Цветущие дали
Воздушной страны.
Там, в замке, – топазы,
Из яхонта вазы
Брильянтов полны.
Зефиры Цейлона
Овеяли кроны
Тенистых садов,
Дорожек извивы
Покрыл прихотливый
Узор жемчугов.
Со дней Соломона
К воздушному трону
Летун не взлетал,
Гробница близ Нила
Фей тайну хранила
(Мне сильф рассказал).

Сказочные фотографии «Берлинского детства» не только запечатлели развалины оставшейся где-то совсем далеко жизни – это еще и моментальные снимки, которые сделал «летун» в

воздушной стране, как о любезности попросив ее жительниц на минутку приостановить свое движение.

Примечание

Вальтер Беньямин трижды готовил эту книгу к изданию: в 1933, 1934 и 1938 годах. Увидеть ее напечатанной ему не довелось. После войны (в 1950 году) Теодор Адорно, знавший о замысле «Берлинского детства», составил его первое издание по разрозненным материалам сохранившихся рукописей Беньямина и публикациям отдельных текстов в газетах и журналах. В 1981 году в Парижской национальной библиотеке ученые обнаружили многочисленные рукописи Беньямина, которые он, спасаясь бегством от фашистской оккупации, оставил на хранение французскому писателю Жоржу Батаю. Среди этих материалов находился и полный машинописный текст книги, ее последняя авторская редакция 1938 года.

1

День Седана – 2 сентября 1870 года во время Франко-прусской войны под Седаном произошло знаменитое сражение, закончившееся полной победой немцев и пленением французского императора Наполеона III.

2

Дядюшка Крюгер – Пауль Крюгер (1825–1904), президент Трансвааля, одной из южно-африканских республик, сражавшихся с британскими колониальными войсками в Англо-бурской войне.

3

Ф. Шиллер. Песнь о колоколе. Цит. в пер. Дм. Мина.

4

Большая Звезда – одна из центральных площадей Берлина в районе Тиргартен.

5

Петер Шлемиль – герой повести А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» (1813), отдавший дьяволу собственную тень взамен на волшебный кошелек.

6

Бидермейер – стилевое направление в немецком и австрийском искусстве и литературе 1810-1940-х годов.

7

Ф. Шиллер. Валленштайн. Цит. в пер. Н. Славятинского.

8

Церера – древнеримская богиня, покровительница урожая и плодородия.

9

Фенрир – в германско-скандинавской мифологии громадный волк, младший из детей Локи, великий и ужасный враг богов.

10

Ник Картер – детектив, популярный персонаж американских дешевых «романов с продолжением».

11

На Пасху взрослые прячут разукрашенные пасхальные яйца в разные укромные места. Потом дети их ищут, а выигрывает тот, кто найдет больше всех яиц.

12

Пергамский музей – один их крупнейших музеев Берлина. Построен в 1910–1930 годах для знаменитого Пергамского алтаря и для собрания поздней античной живописи и скульптуры.

13

Согласно Пятикнижию (Торе), во время египетского пленения евреев ангел смерти казнил всех египетских первенцев и миновал дома правоверных иудеев, отмеченные кровью жертвенного агнца.

14

Анхальтский вокзал – название вокзала от слова «anhalt» (остановка, стоянка, привал).

15

София Веррисгофер (1838–1890) – необычайно популярная немецкая писательница конца XIX – начала XX века, автор романов о приключениях и путешествиях.

16

Феликс Дан (1834–1912) – немецкий писатель и поэт, автор популярных исторических романов.

17

Иоганн, граф фон Тилли (1559–1632) – известный полководец времен Тридцатилетней войны.

18

Драгун Притвица – воин драгунского полка, руководимого прусским генерал-лейтенантом Вольфгангом фон Притвицом в эпоху наполеоновских войн.

19

Кацусика Хокусай (1760–1849) – выдающийся японских художник и гравер.

20

«Своею силой» – роман (1887) Вильгельмины фон Гиллерн (1836–1916), одной из самых популярных писательниц Германии.

21

Последний из могикан – Чингачгук, последний представитель индейского племени могикан, герой романа Фенимора Купера «Последний из могикан» (1826).

22

Реформированный иудаизм (или реформистский иудаизм)

возник в начале XIX века в Германии и был связан прежде всего с обрядовыми реформами, во многом смягчившими ортодоксальные правила религии.

23

«Приход и расход» – роман (1855) популярного немецкого писателя Густава Фрейтага (1816–1895), воспевающий средний класс и либеральное бюргерство.

24

«Повесть о двух городах» – роман (1859) Чарлза Диккенса о временах Французской революции, самое читаемое произведение английской литературы.

1

Колонна Победы установлена на Королевской площади (Кенигсплац) в честь победы немцев во Франко-прусской войне 1870 года. Колонна увенчана позолоченной статуей богини победы Виктории в лавровом венке. В 1938 году ко дню рождения Гитлера колонна была перенесена на площадь Большой Звезды.

2

Аллея Победы – бульвар в берлинском парке Тиргартен, построенный по приказу кайзера Германии Вильгельма II в 1895–1901 годах. На бульваре было установлено 32 мраморных памятника бранденбургским и прусским правителям. Каждую скульптурную группу помимо памятника самому правителю составляли два бюста личностям, прославившимся во времена его правления.

3

Святая Екатерина (Екатерина Александрийская, III век н. э.) – в устрашение великомученицы враги построили ужасное пыточное колесо, которое чудесным образом разрушил явившийся ангел. Святая Варвара (IV век н. э.) – с житием святой Варвары связана следующая легенда: ночью к христианской мученице, помещенной в темницу, явился Господь, и наутро все следы истязаний, имевшиеся на ее теле, чудесным образом исчезли.

4

Жан Поль (Иоганн Пауль Рихтер, 1763–1825) – немецкий писатель автор сатирических сочинений, эстетик и публицист. Новалис (Фридрих фон Гарденберг, 1772–1801) – горный инженер, раннеромантический немецкий писатель и поэт, автор романа «Генрих фон Офтердинген», одна из сцен которого повествует о путешествии героя вглубь горы. Людвиг Тик (1773–1853) – немецкий писатель-романтик, автор новеллы «Руненберг», в которой герой попадает в волшебный горный замок. Захариас Вернер (1768–1823) – немецкий драматург, основоположник

жанра «трагедии рока» в немецкой литературе.

5

Кенотаф – надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая могила. В европейской традиции кенотафом часто называется памятное сооружение, расположенное не над могилой с останками покойного, а на месте его гибели (даже если могила существует).

6

Табачная коллегия – вечерние собрания, которые прусский король Фридрих-Вильгельм I устраивал в Берлине и Потсдаме. Приглашались приближенные короля, министры и офицеры высших чинов. Все присутствующие на вечере курили табак из коротких глиняных трубок. Всякий этикет был отброшен. Разговор касался происшествий на войне, на охоте, новостей дня и политики.

7

Обюссоны – тонкие ковры с очень реалистичным рисунком, вышитым шерстяными и шелковыми нитями. Есть легенда, что Людовик XIV не посмел ступить на такой ковер, поскольку изображенные на нем олени в сцене охоты выглядели совершенно как живые. Названы по имени французского города, в котором родился данный вид ткачества.

8

Конрадин Гогенштауфен – последний представитель рода Гогенштауфенов. С небольшим отрядом воинов из Швабии участвовал на стороне гибеллинов в битве против гвельфов в Италии, завоевал Рим, но затем потерпел поражение и был казнен в 1286 году (в возрасте 17 лет) сицилийским королем Карлом I. В немецкой литературе его история нашла многочисленные отражения.

9

«Вечное возвращение всех вещей» – одна из основополагающих, но и наименее проясненных философских концепций Фридриха Ницше, используемая им для обозначения высшей формы утверждения жизни и сформулированная им в книге «Так говорил Заратустра».